

Асмодей Денница

ЦЕМЕССКАЯ БЕЗДНА

ВОЙНА КОНЧАЕТСЯ.
НО ДНО ПОМНИТ.



Асмодей Денница

ЦЕМЕССКАЯ БЕЗДНА

«Автор»

2026

Денница А.

ЦЕМЕССКАЯ БЕЗДНА / А. Денница — «Автор», 2026

Февраль 1943-го. Цемесская бухта. Ночь перед высадкой десанта на мыс Мысхако. Моряк-разведчик Егор Ветров возвращается на землю, которую знает с детства, — и слышит, как из-под воды поднимается белый туман. Он здесь не один. Из глубины, куда за сотни лет легли войны, корабли и чужие проклятия, поднимается нечто древнее, терпеливое и голодное. Двести двадцать пять дней. Двадцать четыре квадратных километра выжженной земли, где нет ни метра без осколка, нет ни одного колодца, который не был бы полит кровью. Здесь воюют не только люди. Апрель сорок третьего. Операция «Нептун»: четыре дивизии, полторы тысячи самолётов, группа торпедных катеров «Бокс» — всё, что есть у Рейха, чтобы стереть плацдарм с карты. Но когда в ходах сообщения обе стороны в единый миг видят одно и то же, когда рукопашная замирает перед тем, что поднялось из вала, — даже немцы понимают: против них воюет не только Советская армия.

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. Соль и мед	5
ГЛАВА 1. Море идет на берег	12
ГЛАВА2. Туман и сталь	20
ГЛАВА3. Хлеб, вода и мёрзлая земля	27
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Асмодей Денница

ЦЕМЕССКАЯ БЕЗДНА

ПРОЛОГ. Соль и мед

Новороссийск, июнь 1942 года

Море в то лето было тёплым и тяжёлым, как топлёное молоко. Оно дышало у пирса, облизывало сваи чёрными языками, и от него пахло рыбой, солью и чем-то ещё — сладковатым, больным, тем запахом, который в городке всегда вспоминали потом, когда говорили о войне: будто вода уже знала, что скоро здесь будет стоять дым, и заранее набиралась горечи.

Старший лейтенант Егор Ветров стоял на корме «морского охотника» и смотрел, как за кормой тает лунная дорожка. Ночь была чистой, без ёж-ветра, без бора. Над Цемесской бухтой висел такой низкий и густой Млечный Путь, что казалось — протяни руку, и сбиваешь звёзды в ладонь, как виноград.

— Чисто, — сказал он вслух сам себе, и голос его утонул в шуме мотора.

Рядом, опершись на леер, стоял старшина второй статьи Миша Байда — широченный, с руками, которые как будто родились для такелажа, а не для таблицы умножения. Байда жевал травинку, хотя травинке в море взяться было неоткуда, и шурился на берег.

— Егор Михайлович, — сказал он, не оборачиваясь, — а правду бают, что в этой бухте корабли тонут сами?

— Бают, — ответил Ветров. — Только тонут они у тех, кто в навигации не разбирается. А мы разбираемся.

— Не, я не про то. Я про старое. Про то, что турки тут крепость строили — Суджук-Кале. И у них каждый второй корабль пропадал без вести. Прямо посреди бухты. Вода ровная, ветра нет — а корабля нету. Как корова языком слизнула.

— Это тебе дед рассказывал?

— Дед. Он у меня с Дона. У нас на Дону про Цемесскую бухту знают. Говорят, тут под водой город стоит.

Ветров поправил фуражку, вздохнул. От города через воду доносился редкий лай собаки — город спал, ещё спал, хотя уже второй месяц слышно было, как на севере ворочается гром. Война подходила. Она шла сюда не спеша, как паводок: сначала по радио, потом по дорогам, потом по лицам людей. А пока — тишина, тёплое море и луна размером с мельничное колесо.

— Город под водой, — повторил Байда задумчиво. — Древние тут жили. Греки. У них вон в Анапе — Горгипию, раскопали. А у нас тут, говорят, ещё раньше что-то было. Ещё до греков.

— Шапсуги были, — сказал Ветров тихо. — До греков. И после. Мой дед по матери — шапсуг. Весь Мысхако — исконная ихняя земля. Я там каждую тропку знаю с детства, меня дед водил. Он про эти места такое рассказывал — тебе и не снилось.

Байда повернулся, в его глазах блеснул интерес.

— Расскажи.

— Не сейчас, — Ветров кивнул на берег. — Вон, причал. Пошли сдавать вахту.

Домой Егор вернулся только к утру, когда небо над Маркотхским хребтом уже наливалось персиковым цветом. Он шёл по улицам Новороссийска, и город в этот ранний час был прекрасен той красотой, которая бывает только у южных портовых городов: акации в цвету, железные крыши, мальчишки, гоняющие мяч, старухи у калиток. Город пах хлебом из пекарни,

мазутом с причала и пресной водой из бочек, которые дворники поливали на мостовую, чтобы сбить пыль.

У калитки его ждала Нина.

Она стояла, придерживая подол платья, босая, на неё падал свет из-за крыши соседнего дома, и в этом свете её волосы были такого цвета, каким бывает мёд, если держать его против солнца. Она улыбнулась, и у Егора внутри что-то перевернулось и встало на место — так, как это бывает, когда после долгой дороги выходишь на знакомую улицу.

— Ты опять всю ночь, — сказала она вместо приветствия.

— Служба, — он подошёл и поцеловал её в висок. — Ты чего не спишь? Ты же в ночную смену была.

— Смены теперь не по расписанию. Передали: эвакуация предприятий начинается. Цем-заводы грузят оборудование на платформы. — Она подняла на него глаза, и в них было то, что он боялся увидеть, — страх, за которым прячется решимость. — Егор, немцы же близко. Совсем близко. От Ростова сколько — триста километров?

— Двести пятьдесят, — машинально поправил он.

— Ну вот. А мы тут сидим и воду возим по бухте.

Он обнял её крепче, прижал к себе, вдыхая запах её волос, в котором смешались мыло, хлеб и лёгкий, едва уловимый запах моря — она всю жизнь прожила у этой воды и теперь пахла ею, как пахнет ракушка, если поднести к носу.

— Послушай, — сказал он ей в макушку. — Я тебя никуда не пущу.

— А я и не собираюсь. — Она отстранилась, посмотрела ему в глаза. — Я тут родилась. И если они войдут — я останусь. У меня мама, у меня бабушка, у меня соседи. Кто их прикроет, если я уйду?

— Я тебя прикрою, — тихо сказал Егор. — Я.

— Ты — моряк. — Она улыбнулась горько и одновременно нежно. — Ты будешь на катере. А я буду здесь. И мы будем друг друга ждать. Как все.

Он хотел что-то возразить, но в этот момент у соседнего дома зашкрипела калитка, вышел дед Ветрова — по материнской линии, старый Кашежев, высокий, сухой, с лицом, вырезанным из старого дерева. Он шёл медленно, опираясь на палку, и Егор сразу заметил, что дед сегодня как-то не так держит спину — будто нёс на плечах невидимый мешок.

— Дед, — позвал Егор. — Ты чего не в постели? Тебе же нельзя на утреннее солнце.

Дед остановился, посмотрел на внука долгим взглядом, от которого у Егора вдруг почему-то похолодело под ложечкой. Старый Кашежев был из тех людей, которые мало говорят и много знают. Он всю жизнь проработал на цемзаводе, но в посёлке о нём говорили, что он «самый старый шалсуг на этом берегу» — и что он умеет то, чего другие не умеют: читать море.

— Заходи домой, — сказал дед по-русски, с лёгким, почти незаметным гортанным акцентом. — Поговорить надо.

— Дед, я с ночной вахты. Мне бы поспать.

— Спать потом будешь. — Дед повернулся и пошёл к дому, не оглядываясь. — Век спать будешь.

Егор посмотрел на Нину. Нина пожала плечами — она деда побаивалась и одновременно обожала, как бояться и обожают всё, что старше и мудрее тебя.

— Иди, — сказала она. — Я потом зайду. Маме помогу с завтраком.

Дед ждал его в горнице. Комната была прохладная даже в июньскую жару — толстые стены, беленые, пахли известью и сухими травами, которые висели пучками под потолком. На столе стоял кувшин с водой, рядом — глиняная плошка с мёдом. Дед сидел на табурете, выпрямившись, и впервые Егор заметил, какой он на самом деле старый: кожа, как пергамент, руки в узлах, глаза — светлые, почти бесцветные, как вода в бухте в полдень.

— Садись, — дед кивнул на лавку. — Мёд ешь. Соль пей.

Егор подчинился. Мёд на тёплом хлебе был густой, тёмный, с горчинкой — горный, из пасеки в Мысхако; дед двадцать лет держал там ульи, пока не сдал пасеку племяннику. Он налил себе воды из кувшина, насыпал на ладонь щепоть соли, слизнул, запил. Дед смотрел, как он это делает, и впервые за утро в его лице что-то смягчилось.

— Хорошо делаешь, — сказал он. — Соль и мёд вместе. Жизнь и сладость, чтобы ни одно без другого не забывалось. Я тебя этому когда учил — ты маленький был, на море удили. Помнишь?

— Помню, дед. Ты меня на Мысхако водил, к долменам.

Дед помолчал. Потом сказал:

— Не к долменам я тебя водил. Я тебя водил слушать море.

Егор поставил кружку. В комнате стало очень тихо — слышно было, как за окном цокает по мостовой лошадь, как далеко-далеко, на элеваторе, гудят машины. Дед наклонился вперёд, и его голос стал другим — ниже, гуще, будто из него говорил не один человек, а целое поколение.

— Слушай меня, внук. Ты у меня один остался. Мать твоя — дочь моя — умерла, царствие ей небесное, отцу твоему я ничего не передал — он человек чужой крови, хороший человек, но чужой. А тебе я передам всё. Потому что придёт время, когда ты это слово вспомнишь. И от того, вспомнишь ты его или нет, будет зависеть, вернёшься ты с этой войны или не вернёшься.

Егор хотел перебить — он не любил, когда дед говорил вот так, торжественно и страшно, — но перебить старшего в этом доме было нельзя. Он замер.

— Наша земля, — продолжал дед, — от Анапы до Туапсе, — это не просто земля. Под ней — глубоко-глубоко, под камнем, под водой, — лежит то, что старше всех народов. Греки его называли по-своему. Турки — по-своему. Мы, шапсуги, называем его Чёрным течением. — Он понизил голос почти до шёпота. — Оно не злое. Оно не доброе. Оно — голодное. Оно ждёт. Тысячи лет оно ждёт, и каждый раз, когда люди на этом берегу начинают убивать друг друга, оно поднимается. Слышишь? Каждый раз. Когда турки рубились тут с ногайцами — оно поднималось. Когда русские взяли крепость — оно поднималось. Когда в прошлую войну тут стояли батареи — оно поднималось, и корабли сами уходили на дно, люди сходили с ума, бросались в воду.

Егор молчал. За окном цокнула ещё одна лошадь. Он не верил в это — он вырос учёным мальчиком, кончил мореходку, знал про течения, про ветры, про перемену глубин. Но он любил деда, а дедов голос в этот час был таким, что под ним, как под музыкой, хотелось просто сидеть и не спорить.

— Когда море заговорит, — сказал дед, — не слушай его. Корми его. Солью корми. Хлебом. Если у человека в море есть что-то своё — жена, сын, земля, — оно не возьмёт его, потому что у него внутри уже есть якорь. Понял? Своё носи с собой, и оно не тронет. А если услышишь голос, который зовёт тебя в воду — это не оно зовёт. Это оно передразнивает. Это оно выманивает пустых.

— Дед, — Егор осторожно коснулся его руки. — Откуда ты это знаешь? Ты же не священник, ты заводской человек.

Дед посмотрел на него, и в его светлых глазах, как в воде, мелькнуло что-то очень старое.

— Я старейшина рода, — сказал он просто. — Мне дед передал, ему — его дед. Я дожил до того дня, чтобы передать тебе. Больше мне передать некому. — Он выдохнул, и вдруг, впервые за весь разговор, улыбнулся — светло, почти беззубо, как умеют улыбаться только очень старые или очень молодые люди. — Не бойся, внук. Я не умираю. Я просто заканчиваюсь, как заканчивается свеча. А свеча за то и держится, что передаёт огонь. Ешь мёд.

Егор ел мёд, пил солёную воду, слушал, как в горнице тикают часы, и не знал ещё, что этот разговор будет последним их разговором.

Нина пришла после обеда, когда Егор наконец сморился и спал на сеновале, уткнувшись лицом в пахнущую ромашкой подушку. Она села рядом, положила руку ему на плечо, и он проснулся от одного только её прикосновения.

— Ты как волк, — сказала она. — Тебя и будить не надо. Чуешь.

— Чую, — согласился он, ещё не разлепив толком глаза. — Тебя за сто метров чую. Ты опять у пекарни была. От тебя хлебом пахнет.

— Ну да. Бабушке булку брала. — Нина помолчала. — Егор, я с утра слышала по радио: Ростов-на-Дону, говорят, эвакуируют. Всё вывозят: заводы, паровозы, даже речные трамваи.

— По радио много чего говорят.

— А ты посмотри на людей. — Нина взяла его за руку, переплела пальцы. — У колхозного рынка очереди за солью. За спичками. За мылом. Люди скупают всё, что можно унести. На вокзале с утра давка. Егор, это же не просто так.

Он сел, потёр лицо ладонями, глянул в окно, на море, которое было видно с сеновала и сейчас казалось синим, мирным, вечным.

— Я знаю, — сказал он. — Я тоже всё знаю. Мы по ночам ходим по бухте, смотрим, как на той стороне жгут костры. Каждый день ближе. Но моя служба — здесь. Моя бухта — здесь. И ты — здесь. Значит, будем здесь.

— А если нас разлучат?

Он посмотрел на неё, и впервые за всё время, с тех пор как они познакомились четыре года назад на танцах у Дворца культуры, ему захотелось сказать ей что-то очень важное, настоящее — то, что не выговаривается обычными словами, потому что слова для такого слишком лёгкие.

— Разлучат — значит, встретимся, — сказал он. — У нас с тобой, Нина, такое слово есть: встретимся. Я его из тебя, слышишь, ни за что не выпущу. Хоть на дно Цемесской бухты ложись — не выпущу.

— Ты не смей на дно ложиться, — строго сказала она. — Ты у меня моряк. Моряки с дна возвращаются.

— Точно, — он улыбнулся. — Я ж тебе говорил: у нас в разведбатальоне поговорка есть. Моряк тонет — море его выплёвывает, потому что соль он свою уже отдал. Мы для моря слишком солёные.

Она рассмеялась — так, как умела только она: сначала одними глазами, потом уже губами. И Егор подумал, что вот за это, за этот смех, за этот запах хлеба, за этот город, за это море — за всё это стоит воевать. Стоит жить. Стоит, если надо, и умирать, но лучше всё-таки жить.

В ту ночь он не спал.

Дежурил опять: катер «морской охотник» МО-215 вышел к мысу Мысхако, нести дозор. Ночь была до странности тихая — даже море не шумело, а подрагивало. Мотор работал вполголоса. Вахтенный Байда стоял на носу, всматриваясь в темноту, и вдруг поднял руку.

— Егор Михайлович, — сказал он шёпотом. — Гляньте.

Ветров подошёл к нему. Прямо по курсу, там, где в темноте угадывался берег Мысхако, из воды поднимался туман — не обычный, а белый, плотный, светящийся, как будто в море горела подводная лампа. Туман стоял стеной, выше мачт, и в нём что-то мерещилось: то ли паруса, то ли башни, то ли просто игра теней и лунного света.

— Что это? — спросил Байда. — Тумана же не было. Небо чистое было.

Ветров молчал. Он стоял на мостике, и сердце его билось ровно, но внутри, в самой глубине, там, где живёт то, что не подчиняется рассудку, что-то отозвалось. Он вспомнил деда. Вспомнил его слова: «Когда море заговорит — не слушай».

— Сбавить ход, — сказал он негромко. — Лево руля, обходим.

— Обходим? — Байда удивился. — Так это ж просто туман.

— Это не просто туман, — сказал Егор. — Обходим.

Катер медленно, осторожно обогнул стену белого молока, держась ближе к берегу, и когда стена осталась за кормой, Егор позволил себе выдохнуть. Он оглянулся — туман всё так же стоял, белый, высокий, и в нём, если прищуриться, что-то двигалось.

Или просто показалось.

Утром, вернувшись на базу, он никому ничего не сказал. А через неделю его дед, старый Кашежев, умер — тихо, во сне, как и говорил: «Я просто заканчиваюсь, как заканчивается свеча». Похоронили его на кладбище в Мысхако, лицом к морю, как хоронят старейшин-шапсугов. Егор стоял у могилы, держа в руке горсть земли, и думал о том, что дед успел передать ему всё, что можно передать словами. А то, что словами не передаётся, — это теперь лежит у него в груди, как камень, тёплый от жизни, и будет лежать там, пока он жив.

Через месяц началась осада.

Через два — в небе над Новороссийском впервые заревели чужие моторы.

А ещё через полгода Егор Ветров стоял на палубе катера, смотрел, как горит родной город за спиной, и знал, что он вернётся. Вернётся — или не вернётся, но бухта его запомнит. Потому что море, как говорил дед, всё помнит. Оно помнит соль. Оно помнит мёд. И оно помнит каждого, кто хоть раз вышел на его воду с якорем в груди.

Город перед грозой

Новороссийск в то лето жил двойной жизнью. Днём он был всё тем же южным городом: кричали чайки, дребезжали трамваи, на базаре торговали помидорами и чурчелой, пахло жареными семечками и анисовой халвой. В кинотеатре «Чавин» крутили комедии, и у входа толпилась молодёжь — девушки в светлых платьях, парни с коками, пахнущие одеколоном «Шипр» и махоркой, потому что курить всё равно хотелось, и папиросы, свёрнутые из газеты, были за ухом у каждого второго.

Но под этой праздной кожей город уже лихорадило.

По ночам, когда затихали трамваи, по улицам шли колонны: эвакуировали заводское оборудование. Цементные гиганты — «Октябрь», «Пролетарий» — отправляли на восток станки, динамо-машины, рельсы от узкоколеек. Грузовики шли на вокзал с выключенными фарами, фары замазаны синькой. На причалах разгружали баржи с ранеными — с Севера, с Дона, с Кубани. Госпитали переполнялись, и в палатах на набережной, в бывших гостиницах, стоял тот особый запах, который Егор узнавал за версту: йод, стиранный бинт, чужое страдание, сжатое до размеров маленькой комнаты.

Нина работала на телефонной станции, в узле связи. Днём — обычные звонки городской жизни: бухгалтерии, базар, амбулатория. Ночью — совсем другие разговоры, те, что шли шифрованными сводками на северо-восток, в штабы. Она не понимала их смысла, но она слышала интонации. А интонации у людей в последнюю неделю были такие, что Нина всё чаще задерживалась после смены в коридоре, прижималась лбом к прохладной стене и стояла так минутами, собирая себя по кусочкам.

— Держись, — говорила ей пожилая телефонистка тётя Паша. — Держись, дочка. Это как с родами: сначала страшно, а потом уже некогда бояться.

— Я не боюсь, — отвечала Нина. — Я, тётя Паша, не боюсь. Я злюсь.

— Это хорошо, — кивала тётя Паша. — Злость — она как соль. Без соли ни хлеб не естся, ни война не воюется.

Уход

Пятого августа его вызвали в штаб базы. Начальник штаба, седой капитан второго ранга с лицом, изрезанным морщинами, как старая карта, посмотрел на него поверх очков и сказал без предисловий:

— Ветров, собирайся. Есть назначение.

— На корабль, товарищ капитан второго ранга?

— На берег, — начальник штаба пододвинул к нему бумагу. — Формируется отряд разведки при штабе Новороссийского оборонительного района. Людей берут обстрелянных, знающих берег. Ты у нас самый береговой — ты же тут родился, все тропки знаешь, по-шапсугски лопочешь. Начальником разведгруппы пойдёшь.

— Есть, — сказал Егор, хотя внутри у него всё сжалось. Он был моряком. Вода была его стихией, его жизнью, его правдой. А теперь его вытаскивали на сушу, туда, где всё было чужим: земля, пыль, винтовки, запах ржаного пота вместо солярки.

— Понимаю, — начальник штаба словно читал его мысли. — Моряку суша — что рыбе небо. Но война, Ветров, она не спрашивает, кто ты есть. Она спрашивает, что ты умеешь. А ты умеешь слушать. Это, брат, на войне поважнее, чем стрелять. Стрелять все умеют. Слушать — единицы.

Егор вышел из штаба и долго стоял на причале, глядя на бухту. Солнце садилось, и море горело, как расплавленный металл. Он знал, что должен пойти к Нине и сказать ей. А ещё он знал, что это будет самый трудный разговор в его жизни — труднее, чем доклад начальнику штаба, труднее, чем ночной дозор в тумане.

Нина ждала его на станции. Она уже всё знала — в городе, где половина населения связана с флотом, новости разлетаются быстрее ветра. Она стояла в дверях, в своём светлом платье, и смотрела на него так, что у него подкосились ноги.

— Назначили, — сказал он.

— Да, — ответила она. — Я слышала.

Он подошёл, взял её за руки. Они были холодные, хотя на улице было тридцать градусов жары.

— Нина, я прошу тебя... — начал он.

— Не проси, — перебила она. — Я знаю, что ты скажешь. Ты скажешь: уезжай, спрячься, пережди. А я тебе скажу: нет. Я останусь. Здесь моя мама, моя бабушка, мои соседи. И ты. Ты — вот он, здесь, в этой бухте. Пока ты здесь — я здесь.

— А если они войдут в город?

— Тогда я стану тем, кем нужно, — сказала Нина спокойно. — Ты — разведчик. Я — связистка. Мы одной крови, Егор. Мы оба умеем слушать. Только ты слушаешь море, а я — людей. Людей, которые лгут, и людей, которые говорят правду. На войне это тоже оружие.

Он смотрел на неё и понимал, что перед ним не та девушка, с которой он познакомился на танцах четыре года назад. Война ещё не успела войти в город, но она уже вошла в Нину — как входят в дом, где зажигают свет, чтобы встретить гостя.

— Тогда вот что, — сказал он, доставая из кармана кисет. — Это тебе. Дедов подарок.

Он развернул тряпицу. В ней лежал маленький железный якорёк — старый, почерневший, с облупившейся краской. Дед когда-то снял его с рыбацкой лодки, затонувшей у Мысхако, и говорил: «У кого такой якорь в кармане — того море не заберёт. Проверено на прадедах».

— Дед говорил, — сказал Егор, — что у кого якорь в груди, того бездна не выманит. У меня два якоря, Нина. Ты и он. Так что я вернусь. Обязательно вернусь. Даже если весь флот утонет, я выплыву — потому что мне есть, куда плыть.

Нина взяла якорёк, сжала его в ладони, и вдруг заплакала — впервые за всё это время, беззвучно, некрасиво, уткнувшись ему в грудь.

— Ты вернёшься, — сказала она сквозь слёзы. — Я тебе верю. Ты вернёшься, и мы посадим яблоню, как дед завещал. Нет, три яблони. Одну тебе, одну мне, одну — нам.

— Договорились, — сказал Егор.

И они стояли так посреди пустой улицы, обнявшись, пока сумерки не съели последний свет, и где-то далеко, над Цемесской бухтой, снова взошёл тот странный белый туман — тихий, высокий, невесомый, как дыхание самой воды. Но Егор не смотрел на туман. Он смотрел на Нину.

А через месяц, третьего сентября, Егор стоял на сопке над городом и смотрел, как горит Новороссийск. Горело всё: элеватор, порт, цементные трубы, жилые кварталы. Густой чёрный дым поднимался к небу, и в этом дыму угадывались очертания города — уже не живого, а умирающего, как падает большое дерево.

Позади него, на востоке, за перевалом, ждали Геленджик, Туапсе, Сочи — те города, куда уходили остатки армии. Впереди была вода. И за водой — мыс Мысхако, дедов сад, разбитая яблоня, и где-то там, в каменном подвале телефонной станции, — Нина.

Он снял фуражку и стоял так, на ветру, пока пыль не попала в глаза. Где-то под обрывом, у самой воды, билась о камни одинокая шляпка — кто-то не успел её привязать, и волны швыряли её, как щепку, туда и обратно, и в этом движении было что-то безнадежное и вместе с тем упрямое, как у человека, который не хочет тонуть.

Потом он надел фуражку, поправил ремень, повернулся и пошёл вниз, к перевалу — туда, где его ждала война, которая ещё не знала, что ей предстоит встретить человека, у которого в груди два якоря и одно обещание.

За спиной Егора море дышало тяжело, как раненый зверь, и в этом дыхании, если очень прислушаться, слышалось что-то древнее, тёмное, терпеливое — то, что ждало своего часа на дне Цемесской бухты.

Но Егор не оборачивался. Он шёл вперёд.

ГЛАВА 1. Море идет на берег

«Отступить дальше некуда — за нами море.» — из приказа по Новороссийскому оборонительному району, август 1942 года

Первые бомбы

Двадцать третьего июня 1942 года над Новороссийском впервые появились немецкие самолёты. Это была разведка — одинокий «юнкерс», высоко, в недосыгаемости зениток, сверкающий на солнце как серебряная рыбка. Он прошёл над городом с юга на север, не сбросив ничего, развернулся и ушёл.

Но город почувствовал: он видел. Он насчитал дымоходы, причалы, элеватор, железные краны порта. Он унёс на крыльях очертания этого города, чтобы в штабах за тысячи километров на картах легли маленькие чёрные значки.

А через день пришли другие.

Ночью Егор был на базе — чинили мотор на катере МО-215, заело клапан. Он спал прямо на верстаке, на брезенте, когда завывала сирена. Сирена в Новороссийске — это был особый звук: низкий, заунывный, как вой подбитой собаки, он въедался в уши и не отпускал. Егор вскочил, накинул бушлат, выбежал во двор.

Небо над портом горело.

Бомбардировщики шли со стороны моря — волна за волной, с интервалами, как траулеры в кильватере. Осветительные бомбы висели в небе на парашютах, раскачиваясь, заливая всё мертвенным белым светом. Потом посыпались фугаски. Взрывы были такие, что земля под ногами ходила ходуном, как палуба в шторм, и стёкла в окнах базы вылетели разом, со звоном, будто кто-то огромный разбил хрустальный сервиз.

— По элеватору бьют! — крикнул кто-то рядом. — По элеватору!

Егор смотрел, как над зернохранилищем встаёт столб огня. Элеватор горел, как свеча, — горело зерно, горела пыль, горело всё, что могло гореть, и в этом огне было что-то неправильное, непоправимое: гибель хлеба, который должен был кормить армию, гибель запасов, гибель будущего. Запах горелого зерна — сладковатый, противный — накрыл весь город в считанные минуты.

В ту ночь Егор впервые услышал, как плачет город. Не охает, не стонет — плачет. Над-рывно, по-бабьи, по-детски. Откуда-то из глубины кварталов доносился вой, смешанный с треском горящих крыш и поскуливанием собак.

Нина в ту ночь была на станции. Она потом рассказывала Егору: стёкла в операторской вылетели, свет погас, а она сидела в темноте в наушниках и слушала, как по проводам идёт смерть — голоса диспетчеров, голоса пожарных, голос начальника порта, который кричал: «Разгрузку не прекращать! Людей не выпускать!» — и сквозь всё это треск и грохот, и чей-то тихий, тихий голос в самом конце линии, который повторял одно и то же: «Мама, мама, мама».

Утром город был весь в гарни. Порт горел. Два катера у пирса — пограничные — лежали на боку, выпотрошенные. Элеватор стоял чёрный, как обгоревший скелет, и от него ещё тянуло жаром. На мостовых лежали стёкла, шифер, куски штукатурки, и дворники уже вышли с мётлами — город убирался, как человек, который после драки приводит себя в порядок, потому что драка только начинается и лицо должно быть чистым.

Егор нашёл Нину у станции. Она стояла на ступеньках, бледная, в пыльном платье, и когда увидела его — рванулась к нему так, что он едва устоял на ногах.

— Ты цел, — она вцепилась в него, в голосе — не вопрос, а молитва. — Ты цел, ты цел, ты цел.

— Цел, — он гладил её по волосам, запылённым, жёстким. — Цел, Нина. Я же тебе говорил: меня море не берёт, я для него слишком солёный.

— Не смей так больше говорить! — она ударила его кулаком в грудь, беззлобно, отчаянно. — Не смей. Соль твоя — это я.

И Егор подумал: вот оно. Вот то самое слово, которое дед велел носить в груди. Якорь. Она — якорь. Пока она здесь, пока она ждёт, пока он слышит её голос — никакая бездна его не выманит.

Продолжение бомбёжек: июль

Июль стал месяцем, когда город привык к смерти. Это не значит, что он смирился, — нет, город не смирялся никогда, но он научился жить рядом со смертью, как живут рядом с тяжёлым соседом: знаешь, что он тут, знаешь, что может постучать в любую минуту, и всё равно продолжаешь варить борщ, выбивать половики, поливать герань на подоконнике.

Бомбили теперь каждую ночь. Немецкая авиация била по порту, по элеватору, по железнодорожной станции, по цемзаводам. Иногда — по жилым кварталам, чтобы запугать. Запугать не получалось: новороссийцы были народом упрямым, южным, привычным к штормам и боре, и бомбы воспринимали как ещё одну стихию — страшную, но не последнюю.

Егору казалось, что он живёт в двух мирах сразу. Днём — обычная жизнь: служба, ремонт моторов, вахты, скудный обед в столовой, письма от Нины, которые приходили через знакомых. Ночью — война: вылеты на «морском охотнике», дозоры, перехваты, иногда — перестрелки с быстроходными немецкими катерами, которые пытались ставить мины у входа в бухту.

Он привык к тому, что море может быть врагом. Он привык к тому, что небо может быть врагом. Он не привык только к одному — к тому, что город, его город, его улица, его дом, его Нина — всё это может стать чужим, может оказаться по ту сторону линии, которую он не имеет права пересечь.

— Егор, — говорила Нина, когда они встречались у станции, урывками, в свободные минуты, — ты не бойся за меня. Я сильная. Я, знаешь, какая сильная? Я, если надо, и без воды проживу три дня. И без еды. А вот без тебя — не могу. Поэтому ты, когда там плаваешь, ты меня с собой мысленно таскай. Мне так спокойнее.

— Таскаю, — отвечал он. — Ты у меня в левом кармане, под сердцем. Вместе с якорем.

Она смеялась — коротко, светло, как умела только она, — и Егору казалось, что даже в этом городе, даже в этом июле, даже в этой войне есть что-то, что не умирает. Есть что-то, ради чего стоит жить.

Август: город готовится

Август тысяча девятьсот сорок второго года был для Новороссийска месяцем, когда воздух стал густым, как перед грозой. Война, которая два месяца назад казалась далёкой и почти нереальной — где-то там, за Ростовом, за Доном, за горизонтом, — вдруг перестала быть новостью и стала бытом. Её приметы были везде: в приказах на доске объявлений, в очередях за керосином, в лицах людей, которые перестали улыбаться без повода.

По улицам непрерывно шли войска. Пехота — в пыльных гимнастёрках, с винтовками наперевес, с котомками за спиной — уходила на северо-восток, к перевалам. Артиллерия тащилась на конной тяге, скрипя осями, и лошади — худые, измотанные — шли, понуриив головы, как будто понимали, куда их ведут. Навстречу войскам тянулись беженцы: старики с тележками, женщины с детьми, девочки с узелками, в которых было всё их имущество. Они шли к морю, к причалам, надеясь уйти морем, но море тоже закрывалось: порт работал только ночью, под бомбами.

Егору было двадцать шесть лет. Он родился в этом городе, в доме с белеными стенами на улице, которая спускалась к бухте, и знал здесь каждую собаку, каждую калитку, каждую трещину в асфальте. Он вырос на цементной пыли — его отец работал на «Октябре», мельником в помольном цехе, — и на морской соли: с четырнадцати лет он бегал на причал, смотрел,

как грузят пароходы, и мечтал о море. Мечта сбылась: он кончил мореходку, ходил третьим помощником на сухогрузах, потом его взяли в военно-морскую базу, на «морских охотников».

Он не был героем. Он был моряком. Для него это означало одно и то же.

В августе его разведгруппу — шесть человек, все из местных, все знающие берег как свои пять пальцев — перебросили на восточный берег Цемесской бухты. Задача была простая и страшная: если немцы подойдут к городу, группа останется на западном берегу, за линией фронта, чтобы вести наблюдение, передавать разведданные и — если повезёт — наводить огонь.

— Это не геройство, — сказал Егору комиссар, пожилой полковник Лебедев, когда подписывал ему предписание. — Это работа. Самая грязная и самая нужная. Герои — те, кто держит переднюю линию. А вы будете теми, кто смотрит. Помни, Ветров: на войне смотреть — это тоже воевать. Иногда — дороже, чем стрелять.

— Есть смотреть, — сказал Егор.

Он не спрашивал, что будет с Ниной. Он знал, что она не уйдёт. Она сказала: «Я останусь. Здесь моя мама, моя бабушка, мои соседи». И он не стал её уговаривать, потому что понимал: у каждого свой якорь. У него — бухта. У неё — город.

Они попрощались на углу, у разбитой кондитерской, от которой пахло горелым сахаром. Нина сунула ему в карман бушлата узелок — сухари, сало, два куса сахара — и сказала:

— Ты это, Егор. Если совсем будет страшно — ты вспомни, как я тебя жду. Я буду ждать. Я такая, я не умею иначе.

— Я помню, — сказал он. — Я всё помню.

И ушёл, не оглядываясь, потому что если бы он оглянулся — он бы не ушёл. А уйти было надо. Война не спрашивала, кто ты есть. Она спрашивала, что ты умеешь.

Разведшкола: октябрь

Геленджик, куда перебросили базу, встретил его запахом хвои, мокрой земли и йода. Город жил войной — он стал той чашей, в которую ссыпали всё: раненых, беженцев, десантников, моряков, штабы, госпитали, аэродромы. Каждая гостиница была госпиталем, каждый санаторий — казармой, каждая бухта — причалом.

Егор попал в разведшколу. Это была не школа, конечно, — так, сборная землянка на склоне, где старые разведчики, прошедшие Керчь и Феодосию, за две недели вкладывали в головы новичков то, что сами узнавали годами.

— Запомните, — говорил им инструктор, капитан с перебитым носом и тихим голосом, — на той стороне у вас нет друзей. Ни одного. Даже те, кто выглядит как свои, улыбается как свои, плачет как свои — могут оказаться чужими. Война — это фильтр. Она отсеивает слабых, но пропускает гнилых. Поэтому: не верь никому, кроме себя и того, кто с тобой в одной связке. И если сомневаешься — лучше не верь. Недоверие на войне — это не грех. Это жизнь.

Его учили читать следы, считать батареи по вспышкам, определять расстояние по звуку выстрела, ходить по ночному лесу, не ломая веток, плавать в одежде, нырять с полной выкладкой, работать с рацией, с ножом, с дубиной, с голыми руками.

— Всё это, — говорил капитан, — вы забудете, когда рядом начнут стрелять. Забудете, я вам гарантирую. Поэтому мы вам вбиваем это в подкорку не для того, чтобы вы помнили, а для того, чтобы вы делали, когда забудете. Руки помнят дольше головы.

Егор учился. Он был не самым быстрым, не самым сильным, не самым метким — но он был самым «береговым». Он чувствовал землю, как чувствуют её звери: по запаху, по влажности, по тому, как она пружинит под ногой. Он знал, где можно спрятаться, где есть вода, где ветер дует так, что звук уходит в море. Это ценилось дороже меткости.

— Ты, Ветров, — говорил капитан, — как камбала: на берегу неуклюжий, а в своём деле — рыба. Ладно. Будешь старшим. Веди группу.

И Егор вёл группу.

Сентябрь: падение

Седьмого сентября сорок второго года немцы вошли в Новороссийск.

Егор узнал об этом на третьей сутки, из перехваченной радиogramмы, которую принёс связной. Он сидел в землянке на восточном берегу, у мыса Пенай, смотрел через бухту на дым, который поднимался над городом — чёрный, густой, как будто горела сама земля, — и слушал, как где-то за водой, среди разрывов, умирает его город.

Он не плакал. Моряки не плачут — они стискивают зубы и смотрят. Он смотрел, как горит элеватор — тот самый, чёрный скелет, который они видели в июне, теперь догорал окончательно. Смотрел, как над портом встают столбы дыма. Смотрел, как в небе кружат самолёты с крестами на крыльях — хищные, деловитые, как осы над падалью.

— Новороссийск пал, — сказал он своим разведчикам, когда вернулся в землянку. — Теперь мы — та сторона. Работаем.

Работа была такой, какой её описывали старые разведчики: грязной, изматывающей, смертельно опасной и — странное дело — почти незаметной. Они выходили ночами на лодках к занятому берегу, высаживались в балках, ползли по мокрой траве, слушали, считали, запоминали. Они смотрели, как немцы укрепляют оборону: как на Маркотхском хребте растут доты, как у порта встают батареи, как по улицам — их улицам! — маршируют чужие сапоги.

Однажды, в конце сентября, Егор лёг в засаде над городом и смотрел в бинокль на свою улицу. Дом стоял цел — только крыша была тронута пожаром, и одно окно выбито. У калитки стоял немецкий часовой, курил, глядя на море. Егор смотрел на свой дом, на чужого солдата у своей калитки, и в груди у него поднималось что-то тяжёлое, горячее, как расплавленный свинец.

«Я вернусь», — сказал он про себя. «Я вернусь, и мы посадим яблоню».

Октябрь: элеватор

В октябре сорок второго в Новороссийске случилось то, о чём Егор узнал много позже, уже зимой, от партизан, и что он потом не мог забыть до конца жизни.

Немцы, войдя в город, начали «зачистку». Людей, которых считали неблагонадёжными, — коммунистов, евреев, работников советских учреждений, просто тех, кто попал под руку, — сгоняли к элеватору. Элеватор стоял чёрный, выгоревший изнутри, с провалившимися перекрытиями, и в его подвалах ещё пахло горелым зерном.

Их расстреливали там, у элеватора, в подвалах, у портовых стен. Сбрасывали в ямы, которые они же и копали. Город, который в июне плакал от бомб, теперь кричал от расстрелов — но крики эти не доносились через бухту, потому что ветер дул с моря, и море, как всегда, ничего не рассказывало.

Нина выжила.

Она потом рассказывала Егору — уже после войны, когда они сидели на веранде и пили чай с мёдом, — как это было. Она была на станции, когда началась зачистка. Связь оборвалась, станцию закрыли, и она ушла в подвал к соседям, к старухе бабе Шуре, у которой в подвале был схрон — картошка, капуста, три банки варенья. Она просидела там три недели, выходя только по ночам, по нужде и за водой, и всё это время слушала, как по улице ходят сапоги, как стреляют где-то рядом, как плачет город.

— Я думала, — рассказывала она, — что я умру от страха. Не от пули — от страха. Страх — он хуже пули. Пуля — она раз, и всё. А страх — он живёт в тебе, как червь, и точит, и точит. Я сидела в темноте и боялась каждого звука. А потом я вспомнила тебя. Вспомнила, что ты сказал: у меня якорь. И мне стало легче. Не потому, что я перестала бояться. Потому, что я поняла: если я умру — то с якорем. А с якорем не страшно.

Нина выжила. Она осталась в городе, в оккупации, и стала тем, кем обещала стать: связной подполья. Она передавала записки, спрятанные в хлебе, в вёдрах, в детских куклах. Она слушала — и рассказывала другим. Потому что, как она говорила, у кого уши — тот уже воюет.

Ноябрь: туман над Дообом

В ноябре сорок второго разведгруппу Егора перебросили на мыс Дооб — тот самый, где в июне он видел белый туман. Зима на побережье была странная: днём — мокрый снег, ночью — туман, густой, молочный, стоявший над водой стеной. И именно в этом тумане начали происходить странные вещи.

Первый случай был с катером МО-224, который шёл ночью из Геленджика в Мысхако с грузом — минами и продуктами для партизан. Катер вёл старший лейтенант Крутень — молодой, весёлый, тот самый, что любил повторять: «Моряки отличаются выдержкой». Он вышел в море в одиннадцать вечера, и больше его никто не видел живым.

Его нашли на рассвете у мыса Дооб — катер целый, на плаву, мотор заглох, а на борту — никого. Ни командира, ни матросов, ни груза. Только чайник на камбузе, ещё тёплый, и папироса, докуренная до половины, в пепельнице на мостике.

Комиссия сказала: вероятно, десант немцев, вероятно, захватили, вероятно, увели людей. Но Егор, который осматривал катер вместе с водолазом Мишей Байдой, знал: десанта не было. Следов борьбы не было. Шлюпка была на месте, на корме, принайтовлена. Спасательные круги — на месте.

Байда, старый водолаз, опустился под воду и осмотрел днище катера. Когда он поднялся, лицо у него было такое, что Егор не стал спрашивать. Байда сам сказал, уже на берегу, отряхивая гидрокостюм:

— Егор Михайлович, вы мне, конечно, не поверите. Но я вам доложу. Днище чистое. Ни пробоин, ни царапин. Катер как новенький. Только вот... — он замялся. — На днище, у самого киля, как будто кто-то прилип. Как будто снизу его держали. Понимаете? Как будто его снизу держали за киль и не пускали.

— Кто держал? — спросил Егор.

— Не знаю, — Байда развёл руками. — Не знаю. Но на металле, под краской, — отпечатки. Большие такие, как от ладоней. Только пальцев — больше, чем пять. Я таких отпечатков в жизни не видел. И, если честно, видеть не хочу.

Егор молчал. Он вспомнил деда. Вспомнил: «Когда море заговорит — не слушай. Корми его».

В ту ночь, вернувшись в землянку, он достал из вещмешка горсть соли — он всегда возил её с собой, с того самого разговора с дедом, — и, выйдя к воде, кинул её в море. Три горсти. Соль упала в тёмную воду, растворилась, и Егор постоял, глядя на воду, пока луна не вышла из-за тучи.

— Ешь, — сказал он тихо, обращаясь к темноте. — Ешь и не тронь моих. Мои — с якорями.

Море молчало. Но в ту ночь Егору показалось — или не показалось? — что туман над Дообом стал чуть реже, чуть прозрачнее. Как будто оно услышало. Как будто оно взяло соль — и согласилось ждать.

Вторая история: старый маяк

В декабре у Егора появился напарник — Саид Кашежев, двоюродный брат, тот самый, что обещал передавать дымовые сигналы с горы. Саид пришёл в разведгруппу не по приказу, а по собственному желанию: он был санинструктором, устал от госпиталя и попросился «на ту сторону», поближе к Мысхако, где у него осталась тётка и дедовы ульи.

— Ты зачем сюда? — спросил его Егор, когда братья обнялись у землянки.

— Ты же знаешь, — Саид пожал плечами. — Я обещал. Два дыма — я жив, один — беда, три — я иду к тебе. Договор есть договор. А теперь, смотрю, ты сам сюда собрался — значит, и мне тут место.

— Тут не мёд, — сказал Егор. — Тут смерть.

— Я санинструктор, — Саид улыбнулся одними глазами. — Я смерть, брат, по долгу службы в лицо знаю. Мы с ней на «ты». Пусти меня с собой — я тебе пригожусь. И дедовы слова помнить буду. Ты один не вспомнишь всё, что нужно. А нас двое — вспомним.

Егор смотрел на брата — на его светлые, почти бесцветные глаза, на сухую, как у деда, стать — и понимал, что отказывать бесполезно. Кашежевы, если что решили, — решают навсегда.

— Ладно, — сказал он. — Будешь при группе. Только смотри, Саид: если что не так — я тебя знаешь куда отправлю? В госпиталь обратно. Штопать чужие раны. Понял?

— Понял, — Саид улыбнулся. — Только ты меня, брат, не отправишь. Потому что без меня ты мёд не найдёшь, а без мёда — какой из тебя воин?

Они рассмеялись — впервые за долгие месяцы, по-братски, тепло. И Егору вдруг показалось, что дед, который смотрел на них откуда-то сверху, из тех мест, где нет глаз, тоже улыбнулся.

Старый маяк

Через неделю после прихода Саида у них случилась первая общая история. Вернувшись с ночного выхода, Саид рассказал Егору, что видел во время перехода.

— Мы шли вдоль берега, — рассказывал Саид, — мимо старого маяка, того, что у Дооба, который ещё до революции стоит. И вот, брат, я его видел. Маяк горел.

— Маяк? — Егор непонимающе посмотрел на него. — Какой маяк? Его же ещё немцы погасили, в самом начале. Его и в ту войну не зажигали. Там теперь никого нет.

— А я тебе говорю, — Саид был серьёзен, — горел. Зелёным огнём. Стоял на скале, высокий, и на самой верхушке — зелёный огонь. Как будто кто-то поднялся туда и зажёл. Стоял, горел, а потом раз — и погас. И всё.

Егор молчал. Он вспомнил слова Байды: «Огни под водой. Зелёные, как свечи». Зелёный огонь на маяке. Зелёные огни на дне.

— Больше туда не ходи, — сказал он Саиду. — Не наша это сторона. Маяк — не наша история. Наша история — город. Понял?

— Понял, — Саид кивнул. — Не пойду.

Но Егор видел по его глазам: Саид не понял. Или понял — но по-своему, по-родовому, как понимали всё Кашежевы: не так, как надо было, а так, как велит кровь.

Декабрь: переправа

В декабре Егора вызвали в Геленджик, в штаб. Там его ждал полковник Лебедев — тот самый комиссар, что подписывал ему предписание в августе. Теперь Лебедев был не один: в кабинете, склонившись над картой, стоял человек в звании майора — коренастый, с тяжёлым взглядом, с руками, которые, казалось, привыкли не к перу, а к прикладу.

— Знакомься, Ветров, — сказал Лебедев. — Майор Волков. Ты о нём слышал.

Егор слышал. О Волкове на флоте ходили легенды: десантник, воевал с сорок первого, высаживался под Керчью, под Феодосией, дважды ранен, дважды награждён. Говорили, что он собирает отряд — особый, десантный, для какого-то большого дела.

— Слышал, — сказал Егор. — Здравствуйте, товарищ майор.

— Здравствуй, — Волков смерил его взглядом. — Ты — Ветров, разведчик. Говорят, ты берег знаешь, как собственную ладонь.

— Так точно. Я тут родился.

— Это хорошо, — Волков кивнул. — Мне нужны люди, которые знают берег. Не карту — берег. Камни, тропки, приливы, ветра. Таких, как ты, — единицы. Пойдёшь ко мне?

— Куда, товарищ майор?

Волков посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом, потом перевёл глаза на карту, на которой лежал Новороссийск, и сказал:

— Туда. Обратно. Забирать город.

Егор стоял и смотрел, как майор водит пальцем по карте — от Геленджика через бухту к западному берегу, к Мысхако, к Станичке, к городу. И внутри у него, там, где жил якорь, что-то ёкнуло — как будто море на миг узнало его голос.

— Иду, — сказал он.

— И учти, — Волков поднял на него глаза. — Дело это — не на неделю. Может, на месяц. Может, на год. Пойдёшь — назад дороги не будет. Только вперёд, только к городу, и только через воду. Ты готов?

— Готов, товарищ майор. У меня якорь.

Волков усмехнулся — впервые за весь разговор.

— Якорь — это хорошо, — сказал он. — Якорь — это то, что держит. А нам нужно то, что держит и не отпускает. Пойдёшь первым эшелоном. Покажешь берег. Ты ведь знаешь, где там удобно высадиться?

Егор помолчал. Потом сказал:

— Знаю, товарищ майор. У Станички, у рыбзавода. Там берег пологий, камень мягкий, а на берегу — овраги. Если тихо подойти — можно высадиться почти незаметно. Только там... — он запнулся. — Там туман.

— Какой туман? — Волков нахмурился.

— Белый, — сказал Егор. — Я его летом видел. Он там стоит, над водой, иногда. Стоит стеной, как молоко. Мы его обходили.

Волков посмотрел на него, потом на карту, потом снова на него.

— Обойдём, — сказал он. — Мы и не такие туманы обходили.

Но Егор видел, что майор что-то запомнил. И что-то отложил в своей голове — там, где рождались планы десантов, от которых зависела судьба города.

Январь: сборы

Январь прошёл в сборах. Егор распрощался со своей разведгруппой — её передали другому командиру — и вошёл в отряд Волкова. Отряд был особый: сто шестьдесят человек, отобранных из разных частей, все — добровольцы, все — прошедшие огонь и воду. Моряки с катеров, артиллеристы с батареей, разведчики, сапёры, связисты, два санинструктора — Саид был одним из них.

Они тренировались на берегу, в бухте, в любую погоду. Высаживались с катеров на камни, на песок, на мокрые скалы. Учились в темноте, в тумане, в шторм. Учились не шуметь, не кашлять, не звякать оружием. Учились умирать молча — и молчать, пережив смерть товарища.

— Вы не десант, — говорил им Волков на построениях. — Вы — ключ. Ключ к городу. От вас зависит не то, возьмём мы плацдарм или нет. От вас зависит, возьмём мы город — или будем ещё год грызть эту землю. Вы поняли? Вы — ключ.

— Поняли, — отвечал строй.

— И запомните, — Волков обводил их тяжёлым взглядом, — там, на той стороне, приказов не будет. Там будет только одно: выжить, закрепиться, держать. Держать, пока не подойдут наши. А они подойдут. Потому что море — оно наше. Мы в нём родились, мы в нём выросли. И мы в него никого не пустим.

Егор слушал и чувствовал, как в груди у него поднимается что-то тёплое и тяжёлое одновременно — то, что моряки называют «своей водой». То, что заставляет человека, выбившегося из сил, вцепиться в вёсла ещё раз. То, что не даёт заснуть, когда надо смотреть. То, что потом, на той стороне, будет держать его, когда всё внутри будет кричать «назад».

Накануне

Тридцать первого января тысяча девятьсот сорок третьего года Егор Ветров стоял на причале в Геленджике и смотрел на море. Была ночь. Над бухтой висела луна — холодная, белая, как соль. Где-то далеко, за водой, лежал Новороссийск — занятый, чужой, но всё ещё его.

За его спиной, на причале, грузились катера. Люди в бушлатах, с автоматами, с гранатами, с мешками сухарей — десант. Отряд майора Волкова. Те, кто через несколько часов пойдёт через бухту, чтобы забрать город.

Егор не спал вторые сутки. Он стоял, курил, смотрел на воду, и думал о том, что сказал ему дед: «Когда море заговорит — не слушай. Корми его».

— Егор Михайлович, — к нему подошёл Миша Байда, одетый так же, как все, — в бушлат, с автоматом. — А правда, что мы завтра идём?

— Правда, — сказал Егор.

— Туда? — Байда кивнул через воду.

— Туда.

Байда помолчал, потом сплюнул в воду.

— А я ведь, Егор Михайлович, в ту ночь, когда мы Крутения нашли... — он понизил голос. — Я ведь не всё вам рассказал. Я потом ещё раз туда лазил. На Дооб. Один, ночью. Хотел понять. И знаете, что я там увидел?

— Что?

— Огни, — сказал Байда. — Под водой. Зелёные такие, светятся. Как будто там, на дне, что-то горит. Я в жизни таких огней не видел. Нигде. Ни на Волге, ни на Каспии, ни тут. Зелёные, ровные, как свечи. Идут рядами. Как будто там, на дне, город стоит, и в нём окна светятся.

Егор молчал. Холод пробежал у него по спине — не от ветра, от чего-то другого.

— Не говори об этом никому, — сказал он наконец. — Никому, Миша. Слышишь? До поры. А когда высадимся — будешь молчать, что бы ни увидел. Там, — он кивнул через воду, — там людям и так страшно. Не надо им ещё и это.

— Молчу, — Байда кивнул. — Я могила. Только вот что, Егор Михайлович. Если там, на той стороне, оно нас ждёт — мы ему что скажем?

Егор посмотрел через воду, на туман, который начинал подниматься над бухтой — белый, тихий, как дыхание.

— Скажем, что мы свои, — сказал он. — Скажем, что у нас якоря. И что мы пришли за своим. А своё оно не трогает.

Где-то на причале загудел катер. Началась посадка. Егор затянулся в последний раз, бросил окурок в воду и пошёл к трапу.

За его спиной, над Цемесской бухтой, поднимался белый туман.

ГЛАВА2. Туман и сталь

Я приказываю: сухопутным частям десантного отряда после высадки на мысхакском плацдарме закрепиться, занять оборону и удерживать рубеж до подхода основных сил. Отступить воспрещаю. За каждой пядью земли — якорь Родины. — боевой приказ, выписка из полевой книжки, февраль 1943

Море заговорило. Тихо, с хрипотцой, как дед говорил — не по-людски, а по-своему, на языке, которого живым слышать не положено. Егор Ветров стоял на корме ушкуя, вцепившись в холодный борт, и смотрел, как белая пелена выползает из-за мыса навстречу катерам.

Вода за бортом была чернее чёрного. Ни луны, ни звёзд — февральская ночь задавила небо мокрым одеялом туч, и только сзади, где уходил Новороссийск, изредка вспыхивали далёкие разрывы — немец бил по порту, по причалам, по пустоте. Ветров повернул лицо в ту сторону на одно мгновение, и сердце у него что-то стиснуло. Там, за той чернотой, за тем грохотом, в холодной комнате на Базарной — Нина. Её нет уже восьмой месяц, с того дня, как город пал. Восемь месяцев он носил её в груди, как дед носил свой медный якорь на шнурке. И сейчас этот якорь — не медный, а живой, ребристый, — ворочался где-то под рёбрами и не давал дышать ровно.

— Не смотри, — сказал рядом Миша Байда. Старшина-водолаз сидел на куче мокрых мешков, поджимая под себя руки, и, казалось, не дрожал вовсе. — Не смотри туда, лейтенант. Город подождёт. Городу некуда бежать.

Егор отвёл взгляд. Сглотнул. На языке был вкус соли и ржавчины — набегал откуда-то снизу, из-за борта, вместе с тихим шорохом, который шёл по воде впереди.

— А туман? — спросил он. — Ты его видишь?

— Вижу, — Байда не поднял головы. Голос у него стал ниже, глуше. — Я его, лейтенант, не вижу, а слышу. Он ползёт к нам. Ты слушай. Слушай воду.

Егор слушал. И в тумане, во тьме, в грохоте моторов, которые матросы глушили, проталкивая катера едва ли не вручную узкими глотками бухты, — он услышал. Сквозь толщу, сквозь чёрную февральскую воду, с самого дна, где поднимался из гнилых илов древний холод, — на него смотрели зелёные огни. Не один, не два. Целая россыпь. Они висели в толще воды фосфорическими точками, не двигались, только слегка увеличивались и уменьшались, будто дышали.

А потом из глубины, из-под днища, поднялся к нему голос. Его собственный голос, до странности похожий, только бережнее и мягче.

— Егор. — Голос Нины. — Егор, вернись. Я жду.

Ветров до хруста сжал борт. Ногти скрипнули по краске.

— Замолчи, — сказал он тихо, в пустоту, в туман, в чёрную воду. — Ты не она. Ты — вода. Ты — дно. Я тебя знаю. Меня не выманишь.

И вода, послушно, подалась. Туман перед носом ушкуя разошёлся, как занавес, расступился волной белого молока, открыв на десяток саженей чистую чёрную воду с редкими баке-нами. Во рту осталась соль. И — почему-то — вкус тёплого хлеба. Как будто дед сунул ему в руку горбушку, которая лежала у изголовья, когда он умирал.

— Ну вот, — сказал Байда. — Прошли. Живыми прошли.

Сзади, из темноты, где качался флагманский катер, донёсся низкий, уверенный голос майора Волкова:

— Ветров, ты впереди. Ты знал, куда нас вёл. Держи направление.

Егор не обернулся. Он смотрел вперёд, на берег, где сквозь разрывы тумана уже проступали смутные очертания Станички, рыбзавода, груды сожжённых дощатых причалов. Родная земля. Он родился здесь, за этими скалами, третьим сыном из русско-шапсугской семьи. Он

знал каждый камень на этом берегу, каждый изгиб воды. И сейчас, стоя на носу катера, он чувствовал, как земля эта — не город, не берег, а сама, живая, огромная, — поднимает голову и смотрит на него.

— Принимай, — прошептал он. — Я дома.

— Отставить дома, — оборвал его Байда, но без злости. — Дома — это когда Верховный скажет. А пока — место называется плацдарм. И называться будет до конца войны.

Катера шли дальше. Вода раздавалась под форштевнями тихо, неохотно, как будто бухта знала, что они несут сюда огонь и смерть, и не хотела их выпускать. Но выпускала. Она всегда выпускала — и всегда принимала обратно. Так было при деде, так будет после всех них.

Погрузка

Началось всё за несколько часов до этого, ещё на той стороне, в Геленджике, где у воды, на отшибе, вдоль холодных пирсов стояли катера соединения капитана-лейтенанта Сипягина. Ночь была сырая, ветреная, и мокрый снег — то ли снег, то ли дождь — сек лица, когда Егор, оглушённый после двух суток без сна, шагал вдоль строя погрузки.

Отряд майора Волкова. Сто шестьдесят человек, пахнувших махоркой, потом, оружейным маслом и — почему-то — тёплым хлебом, потому что перед высадкой всегда кормили. Сто шестьдесят испитых, настороженных лиц, выхваченных из темноты карманными фонариками, которые тут же гасили. Сто шестьдесят якорей в груди, если пользоваться языком деда. Егор шёл вдоль них, и по ходу поправлял то один вещевой мешок, то другой, подтягивал ремень автомата, кивал в ответ на короткие «товарищ лейтенант».

Он их почти всех знал. Не по именам — по рукам, по спинам, по тому, как кто держит оружие. Финогенов, веснушчатый сибиряк, таскал в вещмешке гармонь и клялся, что сыграет её на немецком плацдарме. Немой здоровяк Урчуков из Абхазии носил на груди два запасных диска и заговорённый клык какого-то зверя. Парень Терещенко, тульский, семнадцать лет, прятал в нагрудном кармане фотографию матери. Егор знал про фотографию, потому что Терещенко каждую ночь перед сном вынимал её и долго смотрел, а потом убирал — как молитву.

У трапа каждого катера стояли по двое матросов и принимали груз. Десантники всходили по мокрым сходням гуськом, друг за другом, молча, споро, без суеты. Такая суета — той и дорога ко дну. Дед учил: «На воду спешка — вода тебя за борт. На воду шаг — шагом, ровно, как по хлебу». Егор до сих пор не понимал, что значит «как по хлебу». Но шагал так.

— Ветров! — раздалось сбоку, и Егор обернулся. К нему, топая яловыми сапогами по доскам пирса, подошёл майор Волков. Коренастый, седой, с обветренным лицом кадрового, который три войны повидал и четвёртой уже не боялся. В руке он держал планшет, на шее висели полевые бинокли, а за спиной, как всегда, висел странный, задубевший от соли деревянный амулет — майор клялся, что его сделал какой-то рыбацкий старик в тридцать седьмом и с тех пор всякое море майора отпускало.

— Я, — сказал Егор.

— Ты карту наизусть знаешь, — Волков развернул планшет, подсветил фонариком, прикрыв свет ладонью. — Станичка, рыбзавод. Откуда у них причал, откуда немец бьёт, где камень под водой ходит, где яма. Ты — голова колонны. Будешь на головном катере.

— Майор. — Егор помолчал. — А туман?

— Какой туман по такой погоде? — Волков прищурился в сторону моря. Ветер трепал полу его бушлата. — Февраль. Снег. Волна полтора метра, говорю тебе. Никакого тумана до утра не будет.

— Будет, — сказал Егор тихо. — Я его чую. Он придёт, когда нам будет страшнее всего.

Волков посмотрел на него странно — долго, изучающе, как смотрят на человека, который вдруг сказал что-то лишнее, но важное. Огонёк фонарика дрогнул.

— Пусть придёт, — сказал майор. — Пусть хоть чёрт приедет. Твоё дело — приведи нас к берегу, а туман — моя забота. Слышь, Ветров, — он тронул Егора за плечо, — ты там

гляди, чтобы вода не заговорила. Мне тут на плацдарме ещё чужих голосов не хватало. И своих хватает.

— Амулет, — кивнул Егор на деревяшку у майора на шее. — Сработает.

— Сработает, — согласился Волков. — Твой якорь сработает. У тебя же там, — он ткнул пальцем Егору в грудь, — якорь. Батя твой шапсуг где похоронен? В Море? В земле?

— В земле, — сказал Егор. — В горах. Дед.

— То-то. Якорь в груди у тебя от деда. Мне туман рассказывал, да. Ты гляди, чтобы он тебя выманил. А я — приведу. Шаг — и пошли.

Он развернулся и, не оглядываясь, зашагал к флагманскому катеру, бросив через плечо:

— Полчаса до отхода. Сипягин торопит.

Егор стоял, слушал, как ветер треплет снасти, как вода плёскается о сваи, как за спиной переругиваются матросы, грузя ящики с патронами. В груди стучало. Он прижал ладонь к бушлату, туда, где под тканью висел дедов якорь — маленький, стоптанный, с обломанным ушком, забайкальский, ещё с русско-японской. Дед не снимал его до последнего дня.

«Когда море заговорит — не слушай, корми его солью и хлебом; у кого якорь в груди — того бездна не выманил». Дед повторял это каждый раз, когда Егор выросл, когда уходил в море, когда провожал внука на войну в сорок первом. Егор снял с шеи амулет, поднёс к губам — и тут рядом кто-то прокашлялся.

— Егор. — Голос был тихий, родной, и от него почему-то заломило в горле. Егор обернулся и увидел Саида Кашежева.

Двоюродный брат стоял в трёх шагах, старый вещмешок с красным крестом на плече, в меховой безрукавке поверх гимнастёрки, с ремнём, перетянутым крест-накрест. Лицо у Саида было гладким, почти юношеским, но глаза — старые, тёплые, материнские какие-то. Саид — санинструктор. Носил на шее тот же оберег, что и Егор: их дед — один на двоих, — заказал два одинаковых медных якоря, когда родились оба внука. Егор свой не снимал. Саид свой тоже.

— Ты чего здесь? — спросил Егор. — Ты же на главном катере должен быть, с санчастью.

— А я и есть с санчастью, — Саид улыбнулся уголком рта. — Санчасть — это я. Один. Меня к Волкову прикрепили. На головной катер. — Он шагнул ближе, взял Егора за локоть. — Я решил, что на одной воде нам с тобой спокойнее будет. Дед велел.

— Дед умер, — напомнил Егор. — В прологе. То есть — в прошлом месяце.

— Волю умершего уважать надо, — Саид не смутился. — Он мне во сне вчера снился. Стоял у воды, белый, безрукавка, и смотрел на меня. И говорил: «Саид, не отходи от Егора. Куда он — туда и ты. Вода его не любит, а ты — люби. Вдвоём легче».

Егору стало не по себе. На мгновение ему показалось, что на пирсе, за спиной у Саида, мелькнула тонкая фигура в белой безрукавке. Моргнул — пусто. Только ветер, только снег, только темнота.

— Ты веришь в это? — спросил Егор тихо.

Саид пожал плечами. Подумал.

— Я верю деду. Он моря не боялся, а море его боялось. Это я своими глазами видел, и не раз. Пойдём. Катер ждёт. Пойдём, брат. Ляжем рядом, как в детстве, и будем воду слушать.

Они пошли вдоль строя, мимо десантников, которые молча забирались на катера. Кто-то шёпотом перекрестился, кто-то постучал по дереву. У самого трапа головного катера Егор замедлил шаг и посмотрел вверх, на небо. Там, в разрыве туч, на миг открылась голова — и что-то зелёное, бледное, холодное, на одно мгновение вспыхнуло где-то у горизонта, над самой водой, в дали, где уходил Новороссийск.

— Чуешь? — спросил Саид, не глядя.

— Чую, — сказал Егор. — Оно пришло.

— Ничего. — Саид опустил ему на плечо ладонь. — Корми его солью и хлебом. Соль у меня в мешке. Хлеб — в кармане. Домашний. Дедов вкус. Пойдём.

Катера уходят в ночь

Они отошли от пирса без прощальных объятий, без громких криков, без гармонии — гармонь Финогенов так и не достал, сказал, что на воду инструмент брать — грех, покуда жив. Только вода раздалась под форштевнями, только моторы зарокотали — приглушённо, через самодельные глушители, которые Сипягин лично отладил, чтобы свести шум к беззвучности, — и катера, семь штук, отвалили от пирса один за другим, строем, как на ученьях.

Егор стоял на носу головного. Ветер бил в лицо мокрым снегом, сыпал за шиворот, раздирал лёгкие. Он стоял и смотрел вперёд, в бездну, а где-то за его спиной, на командном посту, переговаривались Сипягин и Волков.

— Дистанцию держи, — шёл по ветру голос майора. — Как дошли до границы заграждения — сигнал, и рули по моему слову.

— Понял, — Сипягин отвечал коротко, сухо, по-флотски. Голос у него был хриплый от ветра и табаку, резкий, как команда. — Моторы заглушу к половине одиннадцатого. Дальше на вёслах, по-тихому. Туман, говорю, идёт. Хороший туман, нам в самый раз.

— Руки его прикуси, — буркнул Волков. — Хороший. У нас от хороших туманов, бывает, люди не возвращаются.

— То на той стороне. А здесь, — Сипягин фыркнул, — здесь своя вода. Я с ней знакомец старый. Мы её помним.

Егор слушал, не поворачивая головы, и голоса эти отчего-то успокаивали. Сипягин — капитан-лейтенант, гонял катера тут, в Цемесской бухте, ещё до войны, знал каждый камень, каждую яму, каждую подводную косу наизусть. И, что главное, от него исходила та ясность, та живая, тёплая уверенность человека, для которого вода — работа, а не судьба. Вот этого Ветрову и не хватало. Потому что для него вода — дедовская, шапсугская, чужая. Говорящая.

Ночь тянулась. Катера шли на вёслах — матросы гребли по двое, молча, ритмично, легко, словно вода сама несла их. Егор слышал мокрый шорох вёсел, редкий плеск, сдавленное дыхание. Где-то в корме кто-то тихо, одними губами, напевал — Егор не разобрал, что, но мелодия была старая, рыбацкая, и он подумал вдруг, что дед напевал эту же песню, когда они с Саидом, мальчишками, сидели у ночного костра на берегу.

Они прошли внешнюю косу. Сипягин подал сигнал — один короткий, глухой удар. Вода вокруг стала тише, глаже, будто затаилась. Туман, который Егор чуял с самого Геленджика, лег на воду ключьями: сначала редкими, тонкими, как вата, потом гуще, плотнее, пока впереди не встала стена белёсого молока, в которую катера вошли, как в сон.

В тумане звуки умолкли совсем. Моторы молчали. Вёсла шумели едва слышно. Даже ветер стих — будто туман съел его. Егор чувствовал на лице холодную, влажную, слегка солоноватую пелену, и дыхание у него само замедлилось, как бывает перед обмороком. Сердце стукнуло раз, провалилось, стукнуло снова.

И тогда он увидел.

Прямо под катером, на глубине, сквозь толщу чёрной воды, на него смотрели зелёные огни. Много. Ровной, слишком ровной россыпью, будто кто-то разложил их по дну, как бусы. Они не мигали, не дышали — они просто смотрели. И из глубины, из-под днища, медленно, чтобы не спугнуть, поднялся звук. Низкий такой, почти неуловимый, ниже натянутой струны. Пение. Женское пение. Без слов, одними голосами.

У Егора пересохло во рту. Он нашарил в кармане бушлата горбушку хлеба — ту самую, дедову, которую Саид совал ему перед отходом, — отломил кусок, сжал в кулаке, нашарил в другом кармане щепоть соли в тряпице и с силой, со злостью, швырнул всё это за борт, в зелёные огни, в поющий холод.

— Соль тебе и хлеб, — сказал он громко, в туман, в воду, чтобы все слышали. — Соль и хлеб. Откушай. А меня — не зови. У меня якорь.

Пение оборвалось. Огни на дне мигнули — и потонули, ушли вниз, в ил, в чёрную глубину. Вода под форштевнем вдруг стала чистой, прозрачной, серой — туман расступился перед катером, как занавес. И на чистой воде, впереди, в двадцати саженях, из пелены выступили тёмные силуэты причалов рыбзавода.

— Дошли, — сказал Байда спокойно, будто всю ночь не спал, не трясся, не слушал чужое пение. — Станичка. Родные причалы. Дома, лейтенант. Дома, как ни крути.

Егор посмотрел на него. Байда не смотрел в воду. Байда смотрел на берег, и в глазах у старшины-водолаза, человека, который всю жизнь нырял в самую толщу и знал, что лежит на дне, — в этих глазах стояла странная, звериная, мокрая тоска.

— Не дома, — сказал Егор. — Плацдарм. Пока войны не кончим — плацдарм.

— Угу, — согласился Байда и зябко повёл плечами. — Только у плацдарма этого, лейтенант, дно не то, что у плацдармов на той стороне. Тут дно живое. Я его, — он понизил голос почти до шёпота, — я его слышу, когда ныряю. Оно растёт. Каждый день, пока здесь люди воюют, — растёт. Ты это запомни. Мне тут плацдарм строить, а дно — живое.

Егор хотел спросить, что это значит, но тут с флагманского донёсся голос Волкова:

— Ветров, Байда! — голос майора пришёл из тумана плотным, но низким, прорезавшим пелену, как нож. — Выходим на линию. Рыбзавод по курсу четыреста метров. С борта не шуметь, оружие — на предохранитель, курить воспрещая. Байда, водолазную группу — к носовому сходню, твои подводники пойдут первыми, осмотрят дно под причалом.

— Есть, — Байда выдохнул, отходя от борта, и в голосе его, только что тонувшем в чужой тоске, вдруг снова появилась та сухая, деловая жёсткость, которую Егор за ним знал и уважал. Он звякнул ремнём, перекинул тяжёлый тулуп на одно плечо и исчез в темноте кормы, бросив на ходу: — Подводники — ко мне. Тихо, ребята, тихо. Дно — живое, но мы его прощупаем.

Егор перевёл дух. Вода под форштевнем шуршала уже откровенно, по-земному — галечная, мелкая, знакомая до слёз. Он присел на корточки, снял варежку, опустил ладонь за борт, в ледяную воду, и задержал дыхание. Вода была холодная, солёная, обычная, февральская вода — без огней, без пения, без морока. Просто вода. Та самая, на которой он в детстве гонял босиком по прибрежной гальке, в которой ловил с дедом бычков, в которой учился плавать, захлёбываясь и крича, пока дед не вытащил его за шиворот и не сказал: «Вода не враг, Егор. Вода — место. Ты в ней гость, пока не научишься быть хозяином».

Хозяином он так и не стал. Но гость — перестал бояться.

— Идём, брат, — щёлкнул рядом Саид и плотнее затянул узел вещмешка. — Туман тебя отпустил. Я видел, как ты кидал за борт. Соль и хлеб. Деду понравилось бы.

— Дед не умел нравиться, — буркнул Егор. — Дед умел не бояться.

— Вот и ты, — Саид поднялся, поправил на плече сумку с красным крестом. — Четыреста метров, Егор. Ты карту знаешь. Где там первый немецкий дот?

— У воды, — сказал Егор, глядя в серую пелену. — На скале, прямо над причалом, метров шесть от уреза. Я его мальчишкой знал — там раньше склад рыбацкий был, камень под ним всегда тёплый, потому что солнце его грело даже зимой. Немец туда пулемёт поставил, я по звуку знаю. За дотом — яма, там они миномёт спрятали. А за ямой — сеть ржавая, я знаю, где она порвана, я сам в детстве в неё залезал за своей сетью.

Саид помолчал. Потом спокойно сказал:

— Хорошо, что ты знаешь, брат. Хорошо, что ты свой. Вода тебя пустила — и берег тебя принял. Это больше, чем карта. Карта не скажет, где земля живая, а где мёртвая.

— Тише, — Волков снова подал голос, теперь совсем рядом — майор подошёл к самому борту, встал рядом с Егором, фонарь не зажигал, держался голосом. — Ветров, курс у меня по карте. Покажи рукой, где высаживаемся и где дот.

Егор повернулся всем телом в сторону берега, взгляделся в пелену, а потом, не говоря ни слова, вытянул руку вперёд, чуть вверх, и покачал ладонью — будто трепал воду у поверхности, будто ловил невидимую нить, что вела его к родному берегу с самого детства.

— Там, — сказал он. — Прямо по носу, левее того места, где туман гуще. Скала, на ней дот, а под ней — мокрый лоток, по которому таскали рыбу. Если яма с миномётом не перенесла — они будут бить с гребня, метров двести, откуда видно всю воду. Мы высаживаемся в лоток. Так туман нас до самого дота прикроет.

Волков кивнул. Егор не видел кивка во тьме, но почувствовал, как майор шевельнулся — так шевелятся люди, когда принимают решение.

— Лоток, — повторил Волков. — Хорошо. Погрузка — на твой знак. Первый взвод — на скалу, сразу под дот. Второй — в обход, по яме, на миномёт. Третий — закрепляется на причале. Байда — дно. Всё ясно?

— Так точно, — сказал Егор.

— Тогда ждём моей команды, — Волков хлопнул его по плечу. — И смотри, Ветров. Когда пойдём — не рвись вперёд из любопытства. Ты мне там живой нужен. Погибнешь — где я второго шапсуга с якорем найду? Дед твой амулет не на каждого вешал. — Он помолчал и добавил едва слышно, почти про себя: — Не люблю я это, когда берег родной, а вода чужая. Иди, голова колонны. Ступай по своему.

Высадка под огнём

Они высадились в час тридцать ночи четвёртого февраля.

Это был не лучший час для великих дел. Самая глухая, самая мёртвая пора, когда сердца бьются ровнее, а вода — самая чёрная. Но когда ты везёшь на себе двести человек под одним небом с противником, который вот-вот услышит, как твои вёсла скребут по дну, — лучше и не надо. Лучше, чтобы никто не проснулся.

Сходни опустились почти беззвучно. Байда со своими подводниками — трое здоровенных мужиков в прорезиненных костюмах, перетянутых верёвками, — спустились в воду по грудь первыми, прошли вперёд по галечному дну, ощупывая его ногами, руками, ножами, потом один из них поднял руку, сжал кулак и опустил вниз, к земле — «дно чистое», — и тогда пошла основная масса.

Егор спрыгнул с носа, в холодную воду у самого причала, и вода, встретив его, будто ахнула — окатила холодом по самые рёбра, забралась под бушлат, задрала дыханье. Но не кусала. Не звала. Просто приняла — как принимает своё, как принимает человека, который вернулся. Егор ощутил под сапогом неровное, скользкое, покрытое тиной дно — галечный, нагретый за день и не успевший остыть, как тёплый бок старого пса, — и понял: дошёл. Ноги — на родной земле.

Где-то наверху, на скале, в рядах тумана, мелькнул огонёк. Один. Короткий. Рыжий.

— Ложись! — заорал Егор, и слово это ещё не успело долететь до ушей десантников, как небо над головой разорвалось — сухим, злым, коротким треском, — и первая пулемётная очередь ударила в воду, вздыбила фонтанчики шрапнели чуть правее, в двадцати шагах от причала.

На той стороне кто-то не спал. Кто-то ждал. Или вдруг проснулся на звук вёсел — и сейчас, одним рывком, поднял над плацдармом ад.

Ад начался сразу, без раскачки. Дот на скале ожил: из амбразуры выплеснулся жёлтый сноп огня, застучал, забился тяжёлый пулемёт, и вода перед причалом покрылась густой сетью всплесков. С гребня, откуда бил миномёт, взвились красные трассеры — мины пошли вразнобой, ломая ночь визгом, и первые разрывы легли по воде, по гальке, по самому краю плацдарма, где десантники, падая на мокрый песок, вжимались в землю и переваливались через борта к укрытию.

— Дот взял под обстрел первый взвод! — голос Волкова перекрывал треск коротко, ровно, как стук метронома. — Второй, на миномёт — дави! Третий — держи причал! Ветров, ты где?

— Здесь! — Егор, пригибаясь, рванул через открытое место, перекатился за грудку мокрых мешков от рыбзавода и, оседлав их, вскинул автомат. Он видел людей, падающих на гальку, видел, как кого-то выдернуло из цепи, как Финогенов, бросив гармонь, полз на четвереньках с двумя связками гранат, как двое матросов волокли раненого в затишек за причальной тумбой.

— Саид! — крикнул Егор, не оборачиваясь. — Саид, куда ты лезешь, лежи!

Но Саид уже не лежал. Саид, согнувшись, перебежками, под свистом пуль, который вёл рядом с его плечом, бросился к раненому — к тому самому парню Терещенко, тульскому, семнадцатилетнему, который сжимал в руке фотографию матери и хрипел, зажимая ладонями бок.

— Не тронь фото, сынок, — Егор услышал голос Саида, смешанный с хрипом и свистом, и почему-то это словечко — «сынок», тёплое, материнское, не по-военному, — вышибло у него на миг всю черноту из головы. — Держи её, держи. Я тебя заштопаю. погоди.

Очередь хлестнула по гальке в двух шагах от Саида. Он не нырнул, не упал — только пригнулся ниже, как под ветром, и продолжил ползти, вытаскивая из сумки бинт, ножницы, ампулы.

А небо над плацдармом разгоралось. Дымовая завеса, которую метнули десантники, встала между причалом и дотом густой белёсой стеной, смешавшись с туманом, — и в этом вареве, в этой каше из дыма и сырости, стало невозможно понять, где свой, где чужой, где вода, где скала. Фигуры десантников скользили силуэтами, вспыхивали фонарями на мгновение и гасли. Кто-то кричал. Кто-то звал санинструктора. Кто-то, сорвав голос, материл кого-то матом — и мат этот, родной, русский, злой, не давал плацдарму сползти в панику.

Егор лежал за мешками, дышал дымом и солью и слушал. Слушал воду. Она, вода, молчала. Не пела. Не звала. Она просто качалась, шипела, грызла гальку, работала своё, и Егор с благодарностью понял: сегодня она на нашей стороне. Живая или нет, верная или нет — сегодня вода его пустила, и этого хватит.

А потом случилось то, чего он ждал с самого отхода.

Туман — тот самый, что расступился перед катером, — вдруг не вздрогнул, а всколыхнулся, как живое тело, накрыл дымовую завесу, проглотил её, смешал с собой, и на мгновение весь плацдарм — причал, скала, дот, яма с миномётом, десантники на гальке — исчез в белёсом молоке, в густой, липкой, тёплой пелене, в которой стихли даже пулемётные очереди.

В темноте, в тишине, в сердце пелены, над самой водой, взошли зелёные огни.

Они поднялись со дна — не одна россыпь, а целая стена, сотни, тысячи бледно-зелёных точек, — и поплыли над плацдармом, над туманом, над головами, медленно, ровно, как глаза невиданной рыбы, что всплыла из чёрной глубины посмотреть, что за суета поднялась на её берегах.

И тогда вода, наконец, заговорила.

ГЛАВА 3. Хлеб, вода и мёрзлая земля

Плацидарм будем держать любой ценой. Каждый камень здесь — наша земля. Кто отдаст пядь — не вернётся домой. Вперёд, за город! — Из приказа по десантному отряду, февраль 1943 года

Станичка, мокрая насквозь

Город спал во мраке. Над Цемесской бухтой не было ни единого огня — только тьма, плотная, как войлок, да редкие вспышки дальних батарей. Егор Ветров стоял по грудь в сырой яме, вычерпанной из мёрзлой земли у обрыва, и смотрел туда, где за тремя верстами воды угадывался Новороссийск — его город, его Нина.

Снег здесь лежал пополам с чернозёмом и гарью, смерзался в корку, набивался за воротник. Земля не поддавалась. Лопата звякала о камень, высекала искры, и каждая искра казалась Егору криком: немцы услышат, сейчас накроют.

— Долбишь, лейтенант? — голос из темноты был как ниоткуда.

Миша Байда проступил из тумана — серое пятно на сером. Его лопата лежала на плече, как винтовка на карауле.

— Долблю, — Егор не обернулся. — У тебя как?

— Рыхлое место нашёл, мать его. — Байда сплюнул. — Полметра, потом плита, как в церкви. Ломаю. Думаешь, немцы дадут нам тут осесть?

— Нет. — Егор наконец обернулся, и в сумраке мелькнуло его лицо — тёмное, жёсткое, с чужой ему самому бородой. — Потому и роём.

Они рыли уже третьи сутки. С того часа, как катера высадили их на узкую полосу гальки под Станичкой, жизнь распалась на куски простой и страшной работы: копать, стрелять, перевязывать, жевать сухарь на бегу, снова копать. Земля была каменистая, промороженная на полтора штыка, и каждый сантиметр траншеи доставался потом и кровью.

Но плацдарм жил. В первую ночь высадились немногим больше сотни; к утру четвёртого февраля к ним пробились ещё два отряда — мокрые, злые, с трофейными автоматами и одной сорокапяткой, которую тащили на руках. Теперь на пятачке было около восьмисот человек — восемьсот сердец, колотившихся в унисон с одним-единственным словом: выстоять.

Егор выпрямился, положил лопату на край ямы и потёр ладони — в мозолях, в трещинах. Набрал ком мёрзлого снега, растёр по лицу — не оттого, что хотел умыться, а чтобы почувствовать хоть что-то, кроме холода.

— Ничего, Миша, — сказал он. — Отвоюем. Пядь за пядью. Как дед говорил: у кого якорь в груди — того ничто не выманит.

— Хороший у тебя дед был, — Байда хмыкнул в темноту. — Только якорь у меня, наверно, не в груди, а в заднице.

Егор тихо засмеялся. Смеется человек в окопе не от веселья — от того, что нельзя разреваться. Он вспомнил, как они смеялись с Ниной в тесной кухоньке на улице Садовой, когда за окном шёл первый военный дождь, и как обещал ей вернуться. Он всегда возвращался.

Он снова взял лопату. Где-то в тумане, над водой, крикнула ночная птица — тревожно, не по-зимнему, — и он на мгновение замер, прислушиваясь. Птица крикнула ещё раз и замолчала, словно чего-то испугалась. Или кого-то.

— Слышал? — спросил он.

— Чего? — Байда тоже замер.

— Птица. Как будто её кто-то спугнул.

Туман за их спинами, над бухтой, был густой, молочный. Он поднимался от воды столбами, и в его глубине что-то тускло мерцало. Егор не мог отвести глаз — море, казалось, смотрит на них в ответ. Смотрит и ждёт.

— Никого там, — сказал Байда, но голос у него стал другим. — Это волна.

Егор перекрестился — не от веры, а от старой привычки, доставшейся от матери, — и вернулся к яме.

Новый день на плацдарме начинался так же, как все прочие: с холода, с мокрой земли и с работы, от которой нельзя отказаться.

Кровь в каменной крошке

Командовал плацдармом майор Волков. Он не ходил — он топал. Не говорил — рубил фразы коротко и в сухую. Голос низкий, с ржавой хрипотцой: когда майор командовал, казалось, рядом падает дерево.

Егор застал его на рассвете пятого февраля у входа в штабную землянку — майор стоял, широко расставив ноги, над картой на патронном ящике. Свеча в гильзе коптила.

— Ветров, — майор не поднял головы, но узнал по шагам. — Разведкой больше не занимаешься. Всю артелию в окопы, я сказал. Завтра по высотам немцы вдарят.

— Мои ребята — не окопная пехота, товарищ майор. Разведчики.

Волков поднял голову. Глаза светлые, холодные, смотрели прямо сквозь человека.

— А я не спрашивал, Ветров, разведчик ты или валенок. У меня на пяточке восемьсот душ. И все они завтра могут стать мясом, если мы не сядем покрепче. Земля не ждёт, когда у разведчика настроение будет хорошее. Ступай. Будет дело по тебе — кликну.

Он снова уткнулся в карту, и разговор был кончен. Егор постоял мгновение, глядя на этот широкий затылок, на заплату на шинели у локтя, — и что-то дрогнуло у него внутри. Не обида. Уважение, смешанное с горечью.

К полудню немцы действительно пошли на высоты.

Они шли не лентой, как в старых фильмах, а короткими перебежками, уверенно, прикрывая друг друга огнём. С высот били миномёты, и земля подбрасывала каменную крошку, секущую лица и оставляющую на полушубках дымящиеся точки — будто плацдарм метили клеймом, загодя.

Егор лежал за грудой камней на левом фланге, сжимая трофейный автомат. Рядом — Миша Байда. Дальше — человек десять его разведчиков: бородатые, злые, давно не мытые, серые, как эта земля.

— Не лезь вперёд, лейтенант, — сказал Байда. — Ты мне нужен живьём. Плацдарм башкой держат дурные, а ты у нас умный.

— Заткнись, — Егор улыбнулся и клацнул затвором. — Пошли.

Немцы поднялись на гребень первой высоты — неуклюжие фигуры в полушубках, с касками, блестящими мокрым снегом. Егору почудилось, что они идут молча, как во сне. Будто не солдаты, а тени, поднявшиеся из той мёрзлой земли, которую он копал этой ночью.

— Огонь! — заорал он, и его голос показался ему чужим.

Мир развалился на звуки: хлопки выстрелов, рвущиеся мины, вой осколков. Егор стрелял, не слыша себя, — только фигуры, падающие в снегу и снова поднимающиеся из-за камней, как море из тумана.

Бой шёл дотемна. Снег под высотами стал чёрным от пороха и багровых пятен, мёрзших на глазах. Немцы отошли — не побежали, отошли в порядке, забрав раненых.

Егор сидел на камне, тяжело дыша, и смотрел на свои руки. Они дрожали — мелко, предательски, — но это была не дрожь страха.

Подошёл парторг — невысокий, сухой, в поношенной шинели. Лицо сельского учителя — доброе, с морщинками у глаз, — но сейчас смотрело жёстко, без жалости.

— Стоим, — сказал он, опускаясь рядом. — Отстояли.

— Отстояли, — повторил Егор. — Только это первый день. Их там в городе сколько — думаешь, они отступят от одной высотки?

Парторг помолчал, глядя на море. Туман у бухты снова сгустился, и в его глубине что-то тускло мерцало зелёным.

— Не отступят, — согласился он. — Но и мы не отступим. Плацдарм держим ради города. Ради живых в нём. Ты местный, должен понимать лучше басурман, ради чего мы тут.

Егору захотелось сказать ему про Нину, про улицу Садовую, про то, как обещал вернуться. Но не сказал. Слова в окопе — слабость, а слабость здесь стоит жизни.

— Понимаю, — сказал он коротко и поймал себя на том, что снова смотрит в туман. Он не знал ещё, что через неделю туман возьмёт их всех за горло.

Туман, который говорит

Ночь на девятое февраля была тихой. Слишком тихой. Немцы за день больше не наступали, только изредка пощёлкивали трассёрами по туману — отчего тишина казалась не даром, а затаившимся зверем.

Егор копался в блиндаже, чтобы занять руки. Над бухтой брёл туман, плотный, молочный, и в нём, как накануне и позавчера, мерцали зелёные огоньки — то ли на воде, то ли под водой, он не мог разобраться.

Он сидел на краю своей ямы, натянув на плечи полушубок, и опять вспомнил деда.

Дед был шапсуг, старый, с лицом, изрезанным, как старая карта, и с глазами цвета морской воды — зелёными, глубокими. Он жил в каменном доме у кромки пляжа и знал море, как знают лишь рождённые с ним рядом. Егору шёл десятый год, и он любил сидеть у деда на коленях, пока тот курил трубку и смотрел на волну.

— Егор, — сказал дед однажды вечером, когда солнце тонуло за бухтой и вода стала ало-чёрной, — запомни. Море не просто вода. Море — живое. И когда оно заговорит — не слушай его, кем бы оно ни звало. Корми его — бросай хлеб, бросай соль в воду, — и оно отстанет. А кто станет слушать — того оно выманит. Понимаешь?

— Деда, а почему оно говорит? — спросил тогда мальчик Егор.

Дед тогда долго молчал. Трубка его тлела в темноте.

— Потому что оно голодное, — сказал он наконец. — Оно наело досыта, ещё когда люди резали друг друга на этих берегах. А теперь снова война. Опять война, Егор. Оно услышало. Оно поднимается. И у кого якорь в груди — того бездна не выманит. Якорь твой, Егор. Не теряй его.

Егор не понимал до конца, что значит «якорь в груди». Он чувствовал только, как от этих слов в груди теплеет и делается тяжело и надёжно. Он носил это чувство сквозь училище, сквозь флот, сквозь первые бои под Севастополем.

Было уже за полночь, когда с поста к левому флангу прибежал запыхавшийся краснофлотец — молоденький, с круглыми от испуга глазами.

— Товарищ лейтенант! — крикнул он шёпотом, будто самый звук мог привлечь беду. — Там на посту... они говорят...

— Кто говорит? — Егор встал, разом стряхнув дремоту.

— Немцы, товарищ лейтенант. Не стреляют. А говорят. Из тумана, прямо из-за воды, голосом... голосом нашим.

Егор прошёл следом за ним к обрыву. Там, у самого края, где галька обрывалась в белую мусть прибоя, темнели его разведчики — человек пять, сбившихся в кучу, с оружием на изготовку. Егор не слышал ни одного выстрела.

— Что случилось? — спросил он резко, выходя вперёд.

— Вслушайся, лейтенант, — прошамкал старый комендор — пожилой, одорукий, списанный с эсминца за контузию. Он кивнул в туман. — Слышишь?

Егор прислушался. За шумом прибоя, за свистом ветра, из белой мути доносился голос. Слабый, но отчётливый, близкий, будто говоривший стоял в двух шагах, за пеленой.

— ...Егорушка, — звала голос. Голос был женский. Тёплый. До невыносимости знакомый. — Егорушка, это я. Ты чего не идешь? Я жду тебя. Я так жду. Улица Садовая, помнишь? Иди домой, Егорушка. Иди ко мне, согрею.

У Егора замерло сердце. Нина. Это был голос Нины. Он узнал бы его из тысячи — так, как узнают единственный в мире голос, ради которого воюешь. Он шагнул к обрыву. Один шаг. Потом ещё один.

— Лейтенант! — рука комендора лёг на его плечо, тяжёлая, сухая. — Не ходи. Слышишь? Не ходи. Это не она.

— Это она, — прошептал Егор, и голос его дрогнул. — Я знаю её голос. Это она.

— Она в городе, лейтенант. За водой. Что ей тут делать? Есть голос живой, а есть голос-обманка. Дед твой, чай, говаривал — не слушай, когда море заговорит. Вот оно и заговорило. Твоим голосом, чтоб ты верней пошёл.

Голос в тумане снова позвал, теперь тише, устало, с такой тоской, что у Егора подкосились колени:

— ...я жду тебя... так жду... иди домой...

Егор стоял на самом краю, смотрел в белую муть, и в груди его якорь качался, тянул к воде, к голосу, к Нине. Рациональная часть кричала: это морок. Другая молчала, но тянула сильнее любой логики.

Он глубоко вздохнул, разжал кулак — на ладони лежала щепоть соли, которую он с самого утра носил в кармане. Он шагнул к кромке, размахнулся и бросил соль в туман, туда, откуда тянулся голос. Соль упала в воду, и в тот же миг голос оборвался — точно и не было его. Тишина над бухтой стала плотной, давящей, и в ней слышно было только, как хлупает волна по гальке.

— Корми его, — прошептал Егор, вспоминая деда. — Не слушай. Корми. Соль — тоже еда для него.

В тумане, за кромкой воды, что-то долго молчало. А потом, очень далеко, слабым и уже нечеловеческим вздохом донеслось:

— ...ты не уйдёшь, Егорушка. Никто не уйдёт. Море всех помнит...

И всё стихло. Разведчики стояли неподвижно. Комендор стащил шапку и перекрестился — неловко, одной рукой.

— То-то же, — сказал он сипло. — Корми его, якорный ты мой. Корми, чтоб не голодное было.

Егор молча смотрел на чернеющую воду. И впервые за всю войну ему стало страшно — не за себя, а за то, что море научилось говорить голосом Нины.

Новые люди и старая земля

К одиннадцатому февраля плацдарм напоминал муравейник под мокрым одеялом тумана. Люди копали, таскали брёвна, строили дзоты; от порта подходили новые катера с подкреплением, и каждый вечер пятачок вгрызался в мёрзлую землю ещё на сотню шагов.

Прибывали разные: две роты морской пехоты — бородатые, в тельняшках; сапёры с миноискателями; связисты с рацией, которую тащили вчетвером, потому что на переправе ящик угодил в воду.

А ещё пришёл Саид.

Егор увидел его издалека — высокая фигура в длинной шинели, чёрные волосы, слишком чёрные для этой серой земли. Саид шёл по гальке легко, походкой человека, привыкшего к горам, и нёс санитарную сумку с выцветшим красным крестом.

— Брат, — сказал Саид, подходя, и протянул руку.

Егор сжал её, ощутил тёплую, сухую ладонь, от которой пахло йодом и табаком.

— Ты как здесь? — спросил Егор. — Ты же санинструктор флотилии. Ты на корабле должен быть.

— Народ у нас на корабле сытый, — Саид улыбнулся, и в улыбке его было что-то от солнечного света, чуждого этой земле. — А тут, говорят, раненых много. Я попросился. Ты же знаешь — я на горы смотрел, когда надо было на море идти.

Они стояли на гальке, и сходство их было и роднящим, и странным: Егор — светлый, сероглазый, вылитый русский отец; Саид — тёмный, зелёноглазый, шапсуг по отцу. Две половины одного целого, две крови одного деда.

— Мать знает? — спросил Саид тихо.

Егор перевёл взгляд на город, на белую темноту за водой.

— Знает, что я воюю. Не знает, что я тут. И про Нину... — Он осекся. — Про Нину я ничего не знаю с ноября. Молчит связь.

Саид положил руку ему на плечо.

— Она жива, брат. Я знаю. У нас так: чья-то кровь себя не выдаст. Если б её не стало, ты бы почувствовал. А ты стоишь — значит, она живёт.

Егор не ответил. Он смотрел на воду, и в груди его, у самого якоря, кто-то повторил голосом деда: «Море всех помнит». Он постарался прогнать это. Не сейчас.

Днём они с Саидом обошли весь плацдарм. Саид осматривал раненых — молча вытаскивая осколки, накладывая шины, отдирая примёрзшие бинты. Его пальцы были твёрдые, бережные, и под ними люди успокаивались прежде, чем он открывал рот.

— Тяжело у тебя тут, брат, — сказал Саид, когда они уселись перекурить на краю свежесотрытой траншеи. — Земля злая. Я таких, как эта, в горах не видел. Там камень честный — либо пускает, либо нет. А эта — мягкая, сырая, а внутри ледышка. Гнильё под ней.

— Она не гнилая, Саид. Она мёрзлая от войны. От войны и земля мерзнет, ты не знаешь?

— Знаешь, странно, — Саид задумчиво посмотрел на море. — Вчера ночью, на перевязке, боец из твоей разведки, рыжий такой...

— Байда.

— Байда. Он сказал: «Ты, санчасть, не слушай это». Я спрашиваю: что — это? А он: «Море, говорит, тут говорит. Голосом матери, голосом жены. Соли, говорит, кинь в воду, и оно отстанет». — Саид поднял на брата глаза. — Ты мне, Егор, скажи словами, что он имел в виду.

Егор долго смотрел на загибающуюся волну. Он не знал, как объяснить брату то, во что сам верил наполовину.

— Раньше я бы сказал: бред, психологическая нагрузка. — Он погасил сигарку о камень. — А теперь... не знаю. Слышал я его, Саид. Ночью. Слышал голос, которого быть не может. Нины голос. Стояла у самой воды, звала домой.

Саид молчал долго. Потом качнул головой — медленно, как качал, бывало, дед, глядя на прибой.

— Дед говорил, море умеет говорить. Я всегда думал — сказки для внуков. — Он провёл ладонью по волосам. — А теперь, брат, я думаю иначе. Земля тут мёрзлая не просто от холода. Она от чего-то другого мёрзнет. От того, что под ней лежит и ждёт.

Он не договорил, но Егор понял. Он и сам это чувствовал — спиной, затылком, той частью тела, которая была старше его. Эта земля его не любила. Терпела пока, до поры.

Смерть майора

Ночь на двенадцатое февраля выдалась сухая и лютая. Мороз жатый до хруста, снег скрипел под сапогами, и туман, отступивший было днём, к ночи снова напал от бухты.

Немцы пошли на прорыв в третьем часу ночи. Они накопились за высотами молча и ударили сразу тремя колоннами — во фланги и в центр, где оборону держали сводные роты.

Бой начался внезапно и сразу стал жестоким. Не было вступительной перестрелки — был взрыв гранат, крики, режущий автоматный прибой, чернота, распоротая трассёрами, и фигуры, сталкивающиеся в каменной крошке.

Егор дрался на правом фланге. Он стрелял, менял магазины, бил прикладом, и тело двигалось само, отдельно от сознания.

Он не знал, сколько шёл этот ад. Может, час. Может, три. Он знал только, что немцы начали отходить — сначала крадучись, потом бегом — и что плацдарм выстоял. Опять выстоял.

— Майора! — хриплый голос рванулся из темноты, перекрыл гул отходящего боя. — Майора ранило! Нашим!! Майора!!!

Егор рванул туда через каменную крошку, через тела. Майор лежал в узкой траншее у центрального узла обороны — широкий, распластанный, в насквозь тёмной шинели. Возле него уже склонился Саид, разрывая бинты, и руки его, всегда спокойные, двигались с лихорадочной скоростью.

— Стой, — сказал майор, когда Егор опустился рядом. — Не то... Стой и слушай. Времени нет.

В голосе майора не было боли. Была только странная, пугающая ясность — та, какую даёт человеку смерть, когда снимает с него всё лишнее и оставляет суть.

— Ветров, — майор прокашлялся, и в кашле его была кровь, — скажу тебе, потому что мне больше некому. Ты местный. Ты слышал, что они, — он чуть повёл головой в сторону бухты, — слышали.

— Товарищ майор, — Егор взял его холодную руку, — не говорите.

— Молчи. — Майор сжал пальцы с неожиданной силой. — Плацдарм надо держать. Не ради высот этих каменных. А ради города. За этим берегом — Новороссийск. В нём люди наши, живые. Если уйдём с пятачка — город не взять. А город не взять — всё зря.

Он замолчал, переводя дыхание. Саид что-то делал с его боком, пахло йодом, но Егор видел только мутнеющие глаза майора.

— А про море. — Майор заговорил чуть слышно. — Это не призрак, Ветров. Это сила нашего берега. Наша. Оно голодное, потому что война его кормит. Сытое море сторожит своё, дом стережёт. Голодное — душит всех подряд, и своих, и чужих. Надо его накормить. Не кровью — от крови оно злее. Солью его, хлебом накорми. Понял, что я тебе говорю?

— Понял, товарищ майор. — Егор стиснул его руку. — Накормим. Держим плацдарм. Город возьмём.

— Верно, — майор почти улыбнулся; улыбка на бледном, залитом кровью лице вышла страшной, но настоящей. — Возьмём. Ты скажешь Нине... — Он кашлянул. — То есть моей Нине не скажешь, у меня Ефросиньей звать, старая карга... — Он слабо хохотнул. — А ты, парень, двинься ей. Домой добейся. Я тебе приказ: дожить. Мне недолго осталось, а ты — живи.

Он замолчал навсегда. Рука его, сжимавшая ладонь Егора, обмякла, пальцы разжались, и тяжёлая мёртвая кисть упала на борт шинели. Глаза были открыты, смотрели в бухту, в туман, откуда тянулся голос, — но видели уже другое.

Саид, держа его запястье, щупал пульс, которого не было. Потом медленно, бережно закрыл майору глаза и положил руки на его грудь.

— Нет пульса, — сказал он ровно, без дрожи. Только глаза его, зелёные, повлажнели, как вода.

Егор не вставал. Он держал мёртвую руку майора и смотрел на бухту, где в глубине тумана снова что-то тускло и зелёно мерцало. Его слова остались — как якорь, вколотенный в середину мёрзлой земли.

Рядом всхлипывал кто-то из новеньких. Парторг снял фуражку и стоял над телом.

— Отвоевал майор, — сказал он глухо. — Царствие ему морское.

Егор поднялся. Колени его дрожали — не от усталости.

— Хоронить его надо, — сказал он. — Здесь, на мысе. Лицом к морю. Он нам город доверил. Пусть смотрит, как мы его отнимаем.

Могила на мысу

Хоронили майора Волкова в мёрзлую землю на рассвете тринадцатого февраля. Земля не хотела принимать его — стучала лопатой, как колокол по железу, — но люди вгрызлись в неё.

Могилу вырыли на мысу, на выдающейся в бухту каменной кости, откуда в ясную погоду видно было весь Новороссийск. Сегодня города не было видно: туман лежал на воде белой коркой, только зелёное мерцание в глубине поднималось и опадало, будто кто-то огромный дышал под волной.

Гроб сколотили из ящиков из-под патронов — другой доски на плацдарме не было. В гроб положили его шинель, отчищенную от крови, и скреплённые на груди руки. Кто-то из новеньких положил на грудь алую гвоздику — откуда она взялась, никто не понял, но спросить не решился.

Егор стоял у края могилы. Командовать плацдармом он принял молча, без приказа — потому что так было нужно, а разведчики, глядя, как он выходит вперёд, становились за ним, как люди за тем, в ком почувствовали якорь.

— Товарищи, — сказал Егор. Голос его был хриплый, но не сорвался. — Мы хороним командира. Майора Волкова. Он вёл нас сюда и велел не уходить. Плацдарм держим ради города. Город наш, товарищи. За той водой. В нём наши матери, наши жёны, наши дети. Пока мы стоим здесь — они живут. Уйдём — нет. Я присягу давал ему, а он — вам всем. Так вот, я её держу. Плацдарм не оставим.

Он помолчал, глядя в белую муть за водой. Потом достал горсть соли — той самой, что носил с ночи, — и, размахнувшись, бросил её в туман, в зелёное мерцание.

— Ешь, — сказал он тихо, но в тишине над плацдармом его расслышали все. — Ешь, море. Кормлю тебя. Соль тебе, хлеб тебе. А своих не тронь. Сторожи нас, как деды сторожили. Мы на своей земле. Ешь, стереги.

Зелёное мерцание в глубине бухты медленно погасло — будто кто-то огромный, засыпая, закрыл глаз. Туман начал расходиться, и впервые за неделю над плацдармом проступила черта берега — и за ней, далеко, силуэт города.

Егор вернулся к могиле. Люди опустили гроб на скрещённых жгутах из парашютного шёлка. Гроб лёг в яму. Первой горстью мёрзлой земли майора засыпал Егор, второй — парторг, третий — Саид.

Когда могилу заровняли и поставили крест из двух скрещённых досок, Егор последним остался у мёрзлой могилы — лицом к морю, к городу, и в груди его якорь стоял твёрдо, неподвижно, как никогда.

— Спи, майор, — сказал он. — Город возьмём. Не подведу.

Ветер с бухты тронул его небритые скулы, и Егору на мгновение показалось, что он отвечает ему тёплым дыханием.

Он повернулся и пошёл к своим — к разведчикам, к парторгу, к новеньким, смотревшим на него с той верой, какую люди отдают тем, в ком встретили якорь. Плацдарм жил. Город за водой жил. И море, накормленное солью, спало теперь, сторожа их, — или думало.

Часовой, которого не было

Через сутки после похорон майора, в ночь на четырнадцатое февраля, с плацдарма исчез часовой.

Его звали Володя Шестаков, восемнадцать лет, из-под Астрахани. Он стоял на краю обрыва, на кромке гальки, и должен был сменяться в четыре утра. Сменщик пришёл — и не нашёл его: винтовка стояла у валуна, каска лежала на снегу. А самого Володи не было.

Его искали в тумане, обшарили кусты, гальку, ямы. Но земля, мёрзлая и злая, не отдавала его. Следов на снегу не было. Вообще никаких. Будто парня стёрли с земли, не оставив ни отпечатка сапога, ни царапины.

— Ну как? — спросил Егор, подходя к группе у обрыва.

— Сгинул, лейтенант, — ответил старшина, разводя руками. — Как сквозь землю. Винтовку вот нашёл, каску. А его — нет. И следов нет. Не утонул — не на этой гребаной воде.

Егор подошёл к кромке, нагнулся, посмотрел на воду. Она была тёмная, полная тусклого зелёного света — того самого, что мерцал все эти ночи. И ему почудилось, что что-то белое лежит там, на дне, тихое и неподвижное, как брошенная одежда.

— Кто-нибудь слышал что-нибудь ночью? — спросил он, не поднимая головы.

Молчание. Потом однорукий комендор, кашлянув, шагнул вперёд.

— Я слышал, лейтенант. Часа в два. Меня в туалет потянуло, я и вышел. Стою, справляю малую нужду, а из тумана голос. Тоненький так, вроде команда: «Стой, кто идёт?». Я думаю — наш часовой. Прислушался. А голос этот не с берега. Из воды. Из самой бухты, из глубины. И — слышу — шаги. Мокрые такие, шлёпающие, по гальке от воды к берегу. А потом — тишина. И всё.

Он замолчал. Лицо его было неподвижным, и только рука, оставшаяся ему, мелко подрагивала.

— И больше никто ничего не слышал? — спросил Егор, обводя взглядом толпу.

Бойцы молчали, отводили глаза. Но кто-то всё же, не выдержав, буркнул за спинами:

— А чё тут слушать-то, лейтенант. Это море, оно и есть. Море наше, солью накормленное. Да не то оно ест, что вы думаете.

— Помолчи, — оборвал его парторг. — Неча панику наводить.

— Какая тут паника, — ответил голос из тени. — Тут чё-то другое. Тёмное.

Егор выпрямился. Он смотрел на воду, на зелёное мерцание в глубине, и в груди его, у самого якоря, снова что-то дрогнуло — холодное, древнее, голодное. Вспомнил деда: «Море всех помнит». Вспомнил майора: «Сытое море сторожит своё». Вспомнил, как вчера у могилы бросил в воду соль, и как зелёное мерцание пог

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.